

АЛЕКСАНДР
КУПРИН

ОСЕННИЕ
ЦВЕТЫ

Классики и современники

Александр Куприн

Осенние цветы

«Художественная литература»

1899

УДК 82
ББК 84

Куприн А. И.

Осенние цветы / А. И. Куприн — «Художественная литература»,
1899 — (Классики и современники)

ISBN 978-5-280-03894-3

В книге представлены повести и рассказы А. И. Куприна с одной сквозной темой. Повесть «Яма» в свое время произвела среди читателей и критиков эффект разорвавшейся бомбы, и даже сейчас потрясает своей силой и беспощадным реализмом. Печальная история «ночных бабочек», обитательниц борделя средней руки рассказана с почти фотографической точностью. «Гранатовый браслет» — одно из самых поэтических и трогательных художественных произведений русской литературы. В этой трагической истории любви мелкого чиновника к замужней женщине ее создатель, Александр Куприн, предстал перед читателем как мастер психологического портрета и тонких душевных нюансов. «Осенние цветы» — тоже грустный рассказ об утраченной любви. Попытка вернуть прошлое не принесла ничего хорошего. Поникшие осенние цветы среди весеннего яркого солнца. «Олеся» — история трагической любви молодого барина и простой девушки Олеси, которая с самого начала была обречена на печальный конец. «Суламифь» — повесть о страстной любви девушки Суламифь и мудрого царя Соломона, о любви, которую не в силах победить даже смерть, завораживает читателя с первых строк.

УДК 82
ББК 84

ISBN 978-5-280-03894-3

© Куприн А. И., 1899
© Художественная литература, 1899

Содержание

А. И. Куприн: человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит	7
Яма	13
Часть первая	13
Часть вторая	66
Конец ознакомительного фрагмента.	75

Александр Куприн

Осенние цветы. Повести. Рассказы

На передней обложке размещен фрагмент картины художника И. И. Левитана «Осенний день, Сокольники» (1879) На задней обложке фрагмент картины художника И. И. Левитана «Осень» (1891)



© Оформление А. О. Муравенко, 2021

© Художник С. Н. Лопухов, 2021

© Издательство «Художественная литература», 2021

А. И. Куприн: человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит

Александр Иванович Куприн в начале прошлого века был одним из самых популярных писателей реалистического направления. Герои его произведений – представители самых разных профессий и сословий: бородатые музыканты, рыболовы, карточные игроки, бедняки, священнослужители, инженеры и т. д. Неуемная любознательность и желание понять характер заинтересовавшего его человека приводили писателя к самым безумным приключениям. Взрывной темперамент, отличная физическая форма; его так и тянуло испробовать себя, а это в свою очередь давало ему бесценный жизненный опыт и укрепляло дух. Он постоянно стремился навстречу испытаниям: погружался под воду в специальном снаряжении, совершил полет на самолете (чуть не погиб), был основателем спортивного общества и т. д. В военные годы вместе со своей женой Александр Куприн оборудовал лазарет в собственном доме. Исследователь, дух авантюризма которого просто зашкаливал – так можно сказать об этом человеке.

В его биографии неповторимо переплелись радостные и трагические события, взлеты и разочарования. Категорически не приняв власть большевиков, Куприн надолго покинул родину, но, будучи истинно русским человеком, все же вернулся. Он оставил после себя большое творческое наследие, его произведения и сегодня находят отклики в сердцах новых поколений читателей.

Родился Александр Куприн 7 сентября 1870 года в небольшом уездном городке Наровчате близ Пензы в семье Ивана Куприна – потомственного дворянина, мелкого чиновника, и Любови Кулунчаковой, которая была татаркой княжеских кровей. Куприн любил впоследствии вспоминать о своей татарской крови, даже, было время, носил тюбетейку. В этой семье трое детей из шестерых умели, не прожив и двух лет. Когда Сашеньке исполнился год, от холеры, эпидемия которой свирепствовала тогда в России, скончался отец семейства, и Любовь Алексеевна осталась совсем без средств к существованию с тремя маленькими детьми.

В 1874 году мать писателя, женщина, по воспоминаниям, «с сильным, непреклонным характером и высоким благородством», принимает решение переехать в Москву. Там ей удалось пристроить двух дочерей в казенные пансионаты, а сама с сыном поселилась в общей палате Вдовьего дома, куда наконец-то выхлопотала себе место. Семья терпела голод, унижения и лишения, поэтому через два года Любовь Алексеевна отдаст сына в Александровское малолетнее сиротское училище. Тогда для шестилетнего Саши начинается период прозябания на казарменном положении – длиной в семнадцать лет.

В 1880 году Куприн поступил во Вторую Московскую военную гимназию, которую через два года преобразовали в кадетский корпус. Тягостная жизнь «казенного мальчика» – десять лет в закрытых учебных заведениях с жесткой военной муштрай – сочно изображена им в повести «На переломе» (1900) и в романе «Юнкера» (1928–1932), которые дают наглядное представление об этом периоде жизни юноши: диком быте и жестоких нравах воспитанников, бездушном солдафонстве и тупости воспитателей.

Осенью 1888 года А. И. Куприн поступает в Третье Александровское юнкерское училище, готовившее пехотных офицеров. По воспоминаниям его однокашника Л. Лимонова, это уже был не «невзрачный, маленький, неуклюжий кадетик», а сильный юноша, более всего дорожащий честью мундира, ловкий гимнаст, любитель потанцевать, влюбляющийся в каждую хорошенькую партнершу. Здесь мальчик, тоскующий о доме и воле, сближается с преподавателем Цукановым, который «замечательно художественно» читал воспитанникам Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, и начинает пробовать свои силы в литературе – разумеется, как поэт, увлекаясь модной тогда поэзией Надсона. Сохранилось несколько его несовершен-

ных ученических опытов 1883–1887 годов, однако стихи не были опубликованы. И все же еще в училище, благодаря знакомству с поэтом Л. И. Пальминым, Куприн впервые напечатался в московском журнале «Русский сатирический листок». Почином стал рассказ «Последний дебют» (1889).

После Александровского училища подпоручик Куприн был направлен в Днепровский пехотный полк, который стоял в Проскурове Подольской губернии. Четыре года жизни в невероятной глухи, вечная грязь, стада свиней на улицах, хатенки, мазанки из глины и навоза, многочасовая муштра солдат, мрачные офицерские кутежи да пошловатые романы с местными «львицами» заставили его задуматься о будущем. Казарменные будни в Днепровском полку становятся для Куприна все более невыносимыми. И тем не менее эти годы офицерства дали богатый материал для будущих произведений. Все это в конце концов привело к отставке в 1894 году.

Событием, несколько отсрочившим стремление А. И. Куприна покинуть военную службу, было увлечение девушкой. Заштатный подпоручик, с его 48 рублями жалованья, не был подходящей партией, поэтому отец девушки давал согласие на брак лишь в том случае, если Куприн поступит в Академию генерального штаба. Успешная военная карьера так и осталась в мечтах – будущему писателю не удалось поступить в высшее военно-учебное заведение помешал скандал. Из-за своего горячего нрава, под действием алкоголя он сбросил с моста в воду служащего полиции. Вернувшись в полк, Куприн подает прошение об отставке, получает ее и к осени 1894 года оказывается в Киеве. К этому времени у 24-летнего Куприна не было никакой гражданской профессии и слишком мало жизненного опыта. В своей «Автобиографии» он приводит список профессий, которые пытался освоить, сняв военный мундир: был репортером, поэтом, фельетонистом, грузчиком, землемером, певчим, управляющим при постройке дома, разводил табак, выступал на сцене, изучал зубоврачебное дело и т. д. Он много печатается в местных и провинциальных газетах («Киевское слово», «Киевлянин», «Волынь»), пишет рассказы, очерки, заметки. Репортерская работа в киевских газетах была главной литературной школой Куприна.

После Киева – Одесса, затем путь лежит в Севастополь. Александр Куприн никак не мог остановиться, меняя город за городом. Только благодаря Ивану Бунину молодой человек находит постоянно место – в Санкт-Петербургском издании «Журнал для всех». Тот же Бунин сразу по приезде ввел его в дом Александры Аркадьевны Давыдовой, издательницы популярного литературного журнала «Мир Божий». О ней ходили в Петербурге слухи, будто писателей, выпрашивающих у нее аванс, она запирала в своем кабинете, давала чернила, перо, бумагу, три бутылки пива и выпускала лишь при условии готового рассказа, тут же выдавая и гонорар. В этом доме Куприн нашел свою первую жену – по-испански яркую Марию Карловну Давыдову, приемную дочь издательницы.

Она тоже имела твердую руку в обращении с пишущей братией. За семь лет брака с Куприным – время самой большой и бурной славы писателя – ей удавалось довольно продолжительные периоды удерживать мужа за столом (вплоть до лишения завтраков, после которых Александра Ивановича клонило в сон). При ней были написаны произведения, выдвинувшие Куприна в первый ряд русских писателей: рассказы «Болото» (1902), «Конокрады» (1903), «Штабс-капитан Рыбников», «Река жизни» (1906), «Белый пудель» (1904). Накануне первой революции складывается и крупнейшее произведение писателя – повесть «Поединок», напечатанная в 1905 году в сборнике «Знание».

Супруги прожили в браке 5 лет, стали родителями дочери Лидии. К сожалению, ее жизнь оборвалась в 21 год. Ее не стало спустя некоторое время после рождения сына, внука Куприна.

«Поединок» принес писателю заслуженный успех и широкую известность. Нападки на армию, сгущение красок – забитые солдаты, невежественные, пьяные офицеры – все это упало на благодатную почву революционно настроенной интеллигенции. «Поединок» задумывался

автором как автобиографическое, исповедальное произведение, но издателям и читателям начала нового, XX века, личные переживания армейского офицера конца 1880-х годов были малоинтересны.

В повести обязательно должен был содержаться модный в то время обличительный подтекст. Без него нельзя было рассчитывать на успех.

В этот период А. И. Куприн, по его собственному позднейшему признанию, всецело находился под влиянием А. М. Горького и близких ему писателей, считающих своим призванием и долгом «бичевать общественные язвы».

После выхода «Поединка» появились деньги. И друзья. Кстати, среди них были и Чехов, и Саша Черный, и Горький, и Корней Чуковский. Появилась слава. Писатель окунулся в стихию полубогемной жизни (новые знакомства, рестораны, кутежи, бессонные ночи и т. д.). «Это была пора, – вспоминал Бунин, – когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по… ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание на забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большеголовый, только щурялся, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом «Геть сию же минуту к чертовой матери!» – что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались». Это была его (неизбежная, как он считал) «плата» за громкий успех. Однако, с другой стороны, ободренный этим безоговорочным успехом, Куприн обрел окончательную веру в свои творческие возможности.

После разгрома революции 1905 года у Куприна падает интерес к политической жизни страны, в его творчестве наступает спад. Тем не менее известность Куприна-писателя в эти годы продолжает расти, достигая своей высшей точки.

Творчеству мешала постоянная нехватка денег. К этому времени браке Марией Карловной, видимо, исчерпал себя, и Куприн, не умеющий жить по инерции, с юношеской пылкостью влюбляется в воспитательницу своей дочери Лидии – маленькую, хрупкую Лизу Гейнрих, племянницу Д. Н. Мамина-Сибиряка, сестру милосердия Елизавету Морицовну Гейнрих.

Она была сиротой и уже пережила свою горькую историю, побывала на русско-японской войне сестрой милосердия и вернулась оттуда не только с медалями, но и с разбитым сердцем. Лиза выходила от дифтерии дочь Куприных Лиду, которая была оставлена на няньку. Потом было приглашение поехать в Даниловское, имение Батюшкова – друга Куприна, внучатого племянника поэта и знатока западной литературы.

Там Куприн признался Лизе в любви.

Лиза сбежала. В буквальном смысле, и из имения, из их жизни, не желая быть причиной семейного разлада. Вслед за ней ушел из дома и Куприн, сняв номер в петербургской гостинице «Пале-Рояль». Лишь спустя полгода именно Батюшков отыщет Лизу в госпитале на окраине Петербурга, где она выхаживала заразных больных и куда не пускали посторонних.

Помочь могло только одно. Куприна нужно было спасать от пьянства, окружающего его сброда, семейных скандалов и нечистых на руку издателей. Слово «спасение» единственное, что Лиза могла принять и против чего не могла противиться.

И Лиза его спасла. Увезла его на лечение за границу, в Гельсингфорс.

В 1907 году Куприн женится вторично. У них родилась дочь Ксения. Денег постоянно не хватало, поэтому на вершине своей литературной славы писатель вынужден был возвращаться к журналистике. В таких условиях он работал над созданием большой повести «Яма», завершенной в 1915 году. «Яма» подверглась осуждению за излишний, по мнению критиков, натурализм. Книгу буквально задушили критическими рецензиями. Первый тираж полностью изъяли из печати, назвав его порнографическим.

В течение 1910-х годов талант Куприна достигает апогея. В 1909 году писатель получил за три тома художественной прозы академическую Пушкинскую премию, поделив ее с И. А.

Буниным. В 1912 году в издательстве Л. Ф. Маркса выходит 8-томное полное собрание его сочинений в приложении к популярному журналу «Нива».

С началом Первой мировой войны А. И. Куприн вновь надевает мундир поручика, становится армейским инструктором, а его дом в Гатчине превращается в небольшой госпиталь. Демобилизовавшись по состоянию здоровья, он отправляется лечиться в Гельсингфорс (так тогда назывался Хельсинки).

Во время Февральской революции Куприн еще находился в Финляндии. Отречение от престола императора Николая II принял с большим воодушевлением. Февральскую революцию встретил восторженно. По своим политическим взглядам он был ближе всего к эсерам. Куприн вернулся в свой гатчинский дом, начал активно заниматься журналистикой. По приезде в Петроград вместе с критиком П. Пильским он некоторое время редактирует эсеровскую газету «Свободная Россия», работал в «Петроградском листке». Писатель работает в буржуазных газетах «Эра», «Петроградский листок», «Эхо», «Вечернее слово», где выступает политическими статьями. Он не принимает политику военного коммунизма, «красный террор», критикует планы Ленина по преобразованию России. К большевистскому перевороту в октябре 1917 года он отнесся враждебно. И все же пробует работать с новой властью – в 1918 году он обратился к Владимиру Ленину и предложил учредить специальное издание для сельских жителей под названием «Земля», которое принято не было, а в 1917 году работал в издательстве «Всемирная литература», основанном А. М. Горьким.

Однако довольно скоро у него наступило разочарование, он понял, что в стране начинается диктатура. Помимо того начались и личные неприятности – например, его арестовали в качестве заложника после того, как был убит один из видных революционных деятелей.

Все это привело к тому, что осень 1919 года, когда Гатчина оказалась занята белогвардейцами, Куприн присоединился к Белому движению. Вступив в ряды Белой армии, где он редактировал армейскую газету, вместе с разгромленными остатками ее отступал в направлении Нарвы и в конце концов вынужден был покинуть родину (о драматических событиях того времени А. И. Куприн рассказал в повести «Купол св. Исаакия Далматского» (1928). Куприн оказывается сначала в Ревеле – столице Эстонской республики, которая только что получила независимость, потом в Финляндии, а летом 1920 года он с семьей приезжает в Париж.

Французская столица встретила не очень гостеприимно. Как Куприн жил в эмиграции, видно из его писем к Лидии, дочери от первого брака. «Живется нам – говорю тебе откровенно – скверно. Обитаем в двух грязных комнатушках, куда ни утром, ни вечером, ни летом, ни зимой не заглядывает солнце... Ужаснее всего, что живем в кредит, то есть постоянно должны в бакалейную, молочную, мясную, булочные лавки; о зиме думаем с содроганием: повисает новый груз – долги за уголь».

Борясь с нуждой, Куприн безуспешно пытался заняться выращиванием ненужного французам укропа, его жена потеряла последние деньги, открыв переплетную мастерскую. В начале 1920-х гг. он сотрудничал в газете Владимира Бурцева «Общее дело», а также в «Русской газете» и «Русском времени». Публиковал статьи о терроре большевиков, разгроме русской культуры, преследовании православной церкви в Советской России. Семье удавалось хоть как-то жить на скромные гонорары за переводы произведений писателя, статьи и очерки. В 30-е годы Ксения работала манекенщицей, а потом стала сниматься в кино и приобрела некоторую популярность как актриса. Но успехи Ксении на этом поприще не могли обеспечить благосостояния ее семьи. Почти все заработанные ею деньги уходили на приобретение туалетов, без которых невозможно было удержаться в профессии, тогда еще малоприбыльной.

В 1933 году Бунин, получив Нобелевскую премию, переслал часть денег Куприну.

Тяжелое материальное положение заставило писателя взглянуть на жизнь по-новому. «Прекрасный народ, – высказывался Куприн о французах, – но не говорит по-русски, и в

лавочке, и в пивной – всюду не по-нашему… А значит это вот что – поживешь, поживешь, да и писать перестанешь».

Но писать не перестал. В 1928–1933 годах он активно работал над автобиографическим романом «Юнкера», чтобы показать российскую армию такой, какой она была в лучшие годы: непобедимой и бесстрашной.

Поскольку Александр Иванович был внимательным слушателем, теперь, в эмиграции, многочисленные рассказы, услышанные им когда-то в России от «бывалых» людей, оживали на страницах его произведений. Но к концу 20-х – началу 30-х годов запас жизненных впечатлений, привезенных Куприным из России, иссяк, и в середине 30-х годов Куприн фактически прекращает литературную деятельность.

Часть произведений Куприна 1920-х годов – первой половины 1930-х написана на материале из французской жизни: рассказ «Золотой петух», очерки «Юг благословенный», «Париж домашний», «Мыс Гурон» и т. д.

В 1934 году Куприн тяжело заболел, у него обнаружили рак пищевода и нарушение мозгового кровообращения, были значительно повреждены его слух, речь, зрение, он потерял возможность писать. Лечиться или делать операции было не на что. Семнадцать лет, которые писатель провёл в Париже, вдали от Родины, были малоплодотворным периодом. Постоянная материальная нужда, неустроенность, тоска по родине и предчувствие близкой смерти привели его к решению вернуться в Россию.

В 1936 году супруга писателя начала переговоры с советским посольством во Франции. С предложением о возвращении на родину к советскому лидеру Иосифу Сталину обратился полпред СССР во Франции Владимир Потёмкин. 23 октября 1936 года. Полибюро ЦК ВКП(б) приняло решение разрешить Александру Куприну въезд в СССР: новой власти требовалась поддержка со стороны талантливых писателей, которые вернулись бы из-за границы.

31 мая 1937 года семья Куприных приехала в Москву. Дочь Ксения осталась во Франции. Вернулась она в Россию только в 1958 году. Возвращение Александра Ивановича в СССР наделало много шума. Его встречала торжественная процессия, в которую входили известные литераторы и поклонники его творчества. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он надеялся, что на Родине сможет восстановить силы и продолжать заниматься литературной деятельностью.

В июне 1938 года Куприны переехали в Гатчину, но, отказавшись от своей старой гатчинской дачи и от компенсации в семьдесят тысяч за нее, поселились на маленькой дачке Александры Александровны Белогруд, вдовы известного архитектора. Жили они тихо. Куприн наслаждался прекрасным садом, гулял там маленькими шажками. Но болезнь усилилась. Когда ему стало совсем плохо, врачи срочно решили перевезти его в Ленинград, за ним приехала санитарная машина. В Ленинграде, после консилиума, А. И. Куприну сделали операцию. Она принесла временное облегчение, писатель посвежел, но все понимали, что спасти его невозможно. Тем не менее в последние дни жизни А. И. Куприн имел все, в чем он только мог нуждаться – лучшие врачи и прекрасный уход. Его дочь вспоминала: «Что возможно для спасения или, вернее, для продления его жизни, все делается – одним словом, он на давно желанной Родине. Я счастлива, несмотря на ужасное горе, что желание его и мечта сбылись».

Сердце Куприна перестало биться 25 августа 1938 года. Местом его погребения стало Волковское кладбище. Там, на Литераторских подмостках, рядом с Иваном Тургеневым, он нашел свой вечный покой.

Жена Александра Ивановича Елизавета умерла в 1942 году, через четыре года после того, как не стало самого писателя. Не смогла вынести тяготы жизни в блокадном Ленинграде, бомбежки и постоянное чувство голода вынудило женщину покончить с собой.

Прямой потомок писателя – Алексей Егоров умер от ран в Великую Отечественную войну. Таким образом, род Куприных прервался.

В историю отечественной литературы А. И. Куприн вошел как автор повестей и романов, а также как крупный мастер рассказа. Он принадлежал к плеяде писателей критического реализма. В творчестве Куприна сказалось влияние Чехова, Горького и особенно Л. Н. Толстого. Художник правдивый и жизненно-конкретный, писавший только о том, что он сам видел, пережил и перечувствовал, Куприн обращался своим творчеством к широкой аудитории; в центре его произведений обычно «средний» русский интеллигент-труженик, человек сердечный, совестливый, ранимый жизненными противоречиями. Важное место в произведениях Куприна занимают колоритные образы простых людей из народа.

Жизнелюбие, гуманизм, богатство языка делают Куприна одним из самых читаемых писателей и в наши дни. Характерно, что многие его произведения инсценированы и экранизированы; они переведены на ряд иностранных языков.

Яма

Знаю, что многие найдут эту повесть безнравственной и неприличной, тем не менее от всего сердца посвящаю ее материам и юношеству

А. К.

Часть первая

I

Давным-давно, задолго до железных дорог, на самой дальней окраине большого южного города жили из рода в род ямщики – казенные и вольные. Оттого и вся эта местность называлась Ямской слободой, или просто Ямской, Ямками, или, еще короче, Ямой. Впоследствии, когда паровая тяга убила конный извоз, лихое ямщичье племя понемногу растеряло свои буйные замашки и молодецкие обычаи, перешло к другим занятиям, распалось и разбрелось. Но за Ямой на много лет – даже до сего времени – осталась темная слава, как о месте развеселом, пьяном, драчливом и в ночную пору небезопасном.

Как-то само собою случилось, что на развалинах тех старинных, насиженных гнезд, где раньше румяные разбитные солдатки и чернобровые сдобные ямские вдовы тайно торговали водкой и свободной любовью, постепенно стали вырастать открытые публичные дома, разрешенные начальством, руководимые официальным надзором и подчиненные нарочитым суровым правилам. К концу XIX столетия обе улицы Ямы – Большая Ямская и Малая Ямская – оказались занятymi сплошь, и по ту и по другую сторону, исключительно домами терпимости. Частных домов осталось не больше пятидесяти, но и в них помещаются трактиры, портерные и мелочные лавки, обслуживающие надоности ямской проституции.

Образ жизни, нравы и обычаи почти одинаковы во всех тридцати с лишком заведениях, разница только в плате, взимаемой за кратковременную любовь, а следовательно, и в некоторых внешних мелочах: в подборе более или менее красивых женщин, в сравнительной нарядности костюмов, в пышности помещения и роскоши обстановки.

Самое шикарное заведение – Треппеля, при въезде на Большую Ямскую, первый дом налево. Это старая фирма. Текущий владелец ее носит совсем другую фамилию и состоит гласным городской думы и даже членом управы. Дом двухэтажный, зеленый с белым, выстроен в ложнорусском, ёрническом, ропетовском стиле, с коньками, резными наличниками, петухами и деревянными полотенцами, окаймленными деревянными же кружевами; ковер с белой дорожкой на лестнице; в передней чучело медведя, держащее в протянутых лапах деревянное блюдо для визитных карточек; в танцевальном зале паркет, на окнах малиновыешелковые тяжелые занавеси и тюль, вдоль стен белые с золотом стулья и зеркала в золоченых рамках; есть два кабинета с коврами, диванами и мягкими атласными пушками; в спальнях голубые и розовые фонари, канавовые одеяла и чистые подушки; обитательницы одеты в открытые бальные платья, опущенные мехом, или в дорогие маскарадные костюмы гусаров, пажей, рыбачек, гимналисток, и большинство из них – остзейские немки, – крупные, белотелые, грудастые красивые женщины. У Треппеля берут за визит три рубля, а за всю ночь – десять.

Три двухрублевых заведения – Софии Васильевны, «Старо-Киевский» и Анны Марковны – несколько поплоше, победнее. Остальные дома по Большой Ямской – рублевые; они еще хуже обставлены. А на Малой Ямской, которую посещают солдаты, мелкие воришки, ремесленники

и вообще народ серый и где берут за время пятьдесят копеек и меньше, совсем уж грязно и скучно: пол в зале кривой, облупленный и занозистый, окна завешены красными кумачовыми кусками; спальни, точно стойла, разделены тонкими перегородками, не достающими до потолка, а на кроватях, сверх сбитых сенников, валяются скомканные кое-как, рваные, темные от времени, пятнистые простыни и дырявые байковые одеяла; воздух кислый и чадный, с примесью алкогольных паров и запаха человеческих извержений; женщины, одетые в цветное ситцевое тряпье или в матросские костюмы, по большей части хриплы или гнусавы, с полупровалившимися носами, с лицами, хранящими следы вчерашних побоев и царапин и наивно раскрашенными при помощи послюненной красной коробочки от папирос.

Круглый год, всякий вечер, – за исключением трех последних дней страстной недели и кануна благовещения, когда птица гнезда не вьет и стрижена девка косы не заплетает, – едва только на дворе стемнеет, зажигаются перед каждым домом, над шатровыми резными подъездами, висячие красные фонари. На улице точно праздник – пасха: все окна ярко освещены, веселая музыка скрипок и роялей доносится сквозь стекла, беспрерывно подъезжают и уезжают извозчики. Во всех домах входные двери открыты настежь, и сквозь них видны с улицы: крутя лестница, и узкий коридор вверху, и белое сверканье многогранного рефлектора лампы, и зеленые стены сеней, расписанные швейцарскими пейзажами. До самого утра сотни и тысячи мужчин подымаются и спускаются по этим лестницам. Здесь бывают все: полуразрушенные, слюнявые старцы, ищащие искусственных возбуждений, и мальчики – кадеты и гимназисты – почти дети; бородатые отцы семейств, почтенные столпы общества в золотых очках, и молодожены, и влюбленные женихи, и почтенные профессоры с громкими именами, и воры, и убийцы, и либеральные адвокаты, и строгие блюстители нравственности – педагоги, и передовые писатели – авторы горячих, страстных статей о женском равноправии, и сыщики, и шпионы, и беглые каторжники, и офицеры, и студенты, и социал-демократы, и анархисты, и наемные патриоты; застенчивые и наглые, больные и здоровые, познающие впервые женщину, и старые развратники, истрепанные всеми видами порока; ясноглазые красавцы и уроды, злобно исковорканные природой, глухонемые, слепые, безносые, с дряблыми, отвислыми телами, с зловонным дыханием, плешиевые, трясущиеся, покрытые паразитами – брюхатые, геморроидальные обезьяны. Приходят свободно и просто, как в ресторан или на вокзал, сидят, курят, пьют, судорожно притворяются веселыми, танцуют, выделывая гнусные телодвижения, имитирующие акт половой любви. Иногда внимательно и долго, иногда с грубой поспешностью выбирают любую женщину и знают наперед, что никогда не встретят отказа. Нетерпеливо платят вперед деньги и на публичной кровати, еще не остывшей от тела предшественника, совершают бесцельно самое великое и прекрасное из мировых тайнств – таинство зарождения новой жизни. И женщины с равнодушной готовностью, с однообразными словами, с заученными профессиональными движениями удовлетворяют, как машины, их желаниям, чтобы тотчас же после них, в ту же ночь, с теми же словами, улыбками и жестами принять третьего, четвертого, десятого мужчину, нередко уже ждущего своей очереди в общем зале.

Так проходит вся ночь. К рассвету Яма понемногу затихает, и светлое утро застает ее безлюдной, просторной, погруженной в сон, с накрепко закрытыми дверями, с глухими ставнями на окнах. А перед вечером женщины проснутся и будут готовиться к следующей ночи.

И так без конца, день за днем, месяцы и годы, живут они в своих публичных гаремах странной, неправдоподобной жизнью, выброшенные обществом, проклятые семьей, жертвы общественного темперамента, клоаки для избытка городского сладостраствия, оберегательницы семейной чести – четыреста глупых, ленивых, истеричных, бесплодных женщин.

II

Два часа дня. Во второстепенном, двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамках, с двумя десятками плюшевых стульев, чинно расставленных вдоль стен, с олеографическими картинами Маковского «Боярский пир» и «Купанье», с хрустальной люстрой посередине – тоже спит и в тишине и полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно-печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звенела разудалая музыка, колебался синий табачный дым, носились, вихряя бедрами и высоко вскидывая ногами вверх, пары мужчин и женщин. И вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон и кипела до утра людьми и экипажами.

Теперь улица пуста. Она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гардины, и оттого в ней темно, прохладно и так особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда.

Тускло поблескивает фортепиано своим черным, изогнутым, глянцевитым боком, слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые, щербатые клавиши. Застоявшийся, неподвижный воздух еще хранит вчерашний запах; пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом нездорового и нечистого женского тела, пудрой, борнотимоловым мылом и пылью от желтой мастики, которой был вчера натерт паркет. И со странным очарованием примешивается к этим запахам запах увядющей болотной травы. Сегодня троица. По давнему обычью, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами, толстую траву повсюду: в коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажгли лампады перед всеми образами. Девицы, по традиции, не смеют этого делать своими оскверненными за ночь руками.

А дворник украсил резной, в русском стиле, подъезд двумя срубленными березками. Так же и во всех домах около крылец, перил и дверей красуются снаружи белые тонкие стволики с жидкой умирающей зеленью.

Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухне рубят к обеду котлеты. Одна из девиц, Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только шесть временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она прекрасно, сладко выспалась одна, совсем одна, на широкой постели. Она рано встала, в десять часов, и с удовольствием помогла кухарке вымыть в кухне пол и столы. Теперь она кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий пес с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку передними лапами, туго натягивая цепь и хранил от удущья, то, весь волнуясь спиной и хвостом, пригибает голову к земле, морщит нос, улыбается, скулит и чихает от возбуждения. А она, дразня его мясом, кричит на него с притворной строгостью:

– Ну, ты, болван! Я т-тебе дам! Как смеешь?

Но она от души рада волнению и ласке Амура, и своей минутной власти над собакой, и тому, что выспалась и провела ночь без мужчины, и троице, по смутным воспоминаниям детства, и сверкающему солнечному дню, который ей так редко приходится видеть.

Всеочные гости уже разъехались. Наступает самый деловой, тихий, будничный час.

В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из пяти человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом, – Анна Марковна. Ей лет под шестьдесят. Она очень мала ростом, но круглоголовата: ее можно себе представить, вообразив снизу вверх три мягких студенистых шара – большой, средний и маленький, втиснутых друг в друга без промежутков; это – ее юбка, торс и голова. Странно: глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно, мокрой нижней малиновой губой. Ее муж – Исаи Саввич – тоже малень-

кий, седенький, тихонький, молчаливый старичок. Он у жены под башмаком; был швейцаром в этом же доме еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой. Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для загулявших приказчиков, жаждущих пьяных слез.

Затем две экономки – старшая и младшая. Старшая – Эмма Эдуардовна. Она – высокая, полная шатенка, лет сорока шести, с жирным зобом из трех подбородков. Глаза у нее окружены черными геморроидальными кругами. Лицо расширяется грушей, от лба вниз, к щекам, и землистого цвета; глаза маленькие, черные; горбатый нос, строго подобранные губы; выражение лица спокойно-властное. Ни для кого в доме не тайна, что через год, через два Анна Марковна, удаляясь на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть – в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтут ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет, бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которую она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем побои.

Другую – зовут Зоя. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девицы покамест еще называют ее безлично, льстиво и фамильярно «экономочкой». Она худощава, вертлява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической баращком; обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подобострастием.

Наконец, пятое лицо – местный околоточный надзиратель Кербеш. Это атлетический человек; он лысоват, у него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил по сыскной части и был грозою жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах.

У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что два года тому назад он женился на богатой семидесятилетней старухе, а в прошлом году задушил ее; однако ему как-то удалось замять это дело. Да и остальные четверо тоже видели кое-что в своей пестрой жизни. Но, подобно тому как старинные бретеры не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темное и кровавое в своем прошлом, как на неизбежные маленькие неприятности профессий.

Пьют кофе с жирными топлеными сливками, околоточный – с бенедиктином. Но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение.

– Так как же, Фома Фомич? – спрашивает искательно хозяйка. – Это же дело выеденного яйца не стоит… Ведь вам только слово сказать…

Кербеш медленно втягивает в себя полрюмки ликера, слегка разминает языком по нёбу маслянистую, острую, крепкую жидкость, проглатывает ее, запивает не торопясь кофеем и потом проводит безымянным пальцем левой руки по усам вправо и влево.

– Подумайте сами, мадам Шойбес, – говорит он, глядя на стол, разводя руками и щурясь, – подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь! Девушка была обманным образом вовлечена в это… в как его… ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию. Хорошо-с. Она попадает из одного места в другое, из пятого в десятое… Наконец след находится у вас, и главное, – подумайте! – в моем околотке! Что я могу поделать?

– Господин Кербеш, но ведь она же совершеннолетняя, – говорит хозяйка.

– Оне совершеннолетние, – подтверждает Исаи Саввич. – Оне дали расписку, что по доброй воле…

Эмма Эдуардовна произносит басом, с холодной уверенностью:

– Ей-богу, она здесь как за родную дочь.

– Да ведь я не об этом говорю, – досадливо морщится околоточный. – Вы вникните в мое положение… Ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься!

Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околоточному ленивым, невыразительным блекло-голубым глазом:

– Господин Кербеш, я попрошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение.

– А-а! С удовольствием...

Через десять минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербеша хрустит в кармане новенькой сторублевой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. Околоточный, поспешно допивая бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов:

– Вот у меня сын-гимназист – Павел. Приходит, подлец, и заявляет: «Папа, меня ученики ругают, что ты полицейский, и что служишь на Ямской, и что берешь взятки с публичных домов». Ну, скажите, ради бога, мадам Шойбес, это же не нахальство?

– Ай-ай-ай!.. И какие тут взятки?.. Вот и у меня тоже...

– Я ему говорю: «Иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края». Что же вы думаете? Приходит и говорит: «Я тебе больше не сын, – ищи себе другого сына». Аргумент! Ну, и всыпал же я ему по первое число! Ого-го! Теперь со мной разговаривать не хочет. Ну, я ему еще покажу!

– Ах, и не рассказывайте, – вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю малиновую губу и затуманив свои блеклые глаза. – Мы нашу Берточку, – она в гимназии Флейшера, – мы нарочно держим ее в городе, в почтенном семействе. Вы понимаете, все-таки неловко. И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела.

– Ей-богу, Анночка вся покраснела, – подтверждает Исаи Саввич.

– Покраснеешь! – горячо соглашается околоточный. – Да, да, да, я вас понимаю. Но, боже мой, куда мы идем! Куда мы только идем? Я вас спрашиваю, чего хотят добиться эти революционеры и разные там студенты, или... как их там? И пусть пеняют на самих себя. Повсеместно разврат, нравственность падает, нет уважения к родителям. Расстреливать их надо.

– А вот у нас был третьего дня случай, – вмешивается суетливо Зося. – Пришел один гость, толстый человек...

– Не канцай, – строго обрывает ее на жаргоне публичных домов Эмма Эдуардовна, которая слушала околоточного, набожно кивая склоненной набок головой. – Вы бы лучше пошли распорядились завтраком для барышень.

– И ни на одного человека нельзя положиться, – продолжает ворчливо хозяйка. – Что ни прислуга, то стерва, обманщица. А девицы только и думают, что о своих любовниках. Чтобы только им свое удовольствие иметь. А о своих обязанностях и не думают.

Неловкое молчание. В дверь стучат. Тонкий женский голос говорит по ту сторону дверей:

– Экономочка! Примите деньги и пожалуйте мне марочки. Петя ушел.

Околоточный встает и оправляет шашку

– Однако пора и на службу Всего лучшего, Анна Марковна. Всего хорошего, Исаи Саввич.

– Может, еще рюмочку, на дорожку? – тычется над столом подслеповатый Исаи Саввич.

– Благодарю-с. Не могу. Укомплектован. Имею честь!...

– Спасибо вам за компанию. Заходите.

– Ваши гости-с. До свиданья.

Но в дверях он останавливается на минуту и говорит многозначительно:

– А все-таки мой совет вам: вы эту девицу лучше сплавьте куда-нибудь заблаговременно. Конечно, ваше дело, но как хороший знакомый – предупреждаю-с.

Он уходит. Когда его шаги затихают на лестнице и хлопает за ним парадная дверь, Эмма Эдуардовна фыркает носом и говорит презрительно:

– Фараон! Хочет и здесь и там взять деньги...

Понемногу все расползаются из комнаты. В доме темно. Сладко пахнет полуувядшей осокой. Тишина.

III

До обеда, который подается в шесть часов вечера, время тянется бесконечно долго и нестерпимо однообразно. Да и вообще этот дневной промежуток – самый тяжелый и самый пустой в жизни дома. Он отдаленно похож по настроению на те вялые, пустые часы, которые переживаются в большие праздники в институтах и в других закрытых женских заведениях, когда подруги разъехались, когда много свободы и много безделья и целый день царит светлая, сладкая скука. В одних нижних юбках и в белых сорочках, с голыми руками, иногда босиком, женщины бесцельно слоняются из комнаты в комнату, все немытые, непричесанные, лениво тычут указательным пальцем в клавиши старого фортепиано, лениво раскладывают гаданье на картах, лениво перебраниваются и с томительным раздражением ожидают вечера.

Любка после завтрака снесла Амуру остатки хлеба и обрезки ветчины, но собака скоро надоела ей. Вместе с Нюрой она купила барбарисовых конфет и подсолнухов, и обе стоят теперь за забором, отделяющим дом от улицы, грызут семечки, скорлупа от которых остается у них на подбородках и на груди, и равнодушно судачат обо всех, кто проходит по улице: о фонарщике, наливающем керосин в уличные фонари, о городовом с разносной книгой под мышкой, об экономке из чужого заведения, перебегающей через дорогу в мелочную лавочку…

Нюра – маленькая, лупоглазая, синеглазая девушка; у нее белые, льняные волосы, синие жилки на висках. В лице у нее есть что-то тупое и невинное, напоминающее белого пасхального сахарного ягненочка. Она жива, суетлива, любопытна, во все лезет, со всеми согласна, первая знает все новости, и если говорит, то говорит так много и так быстро, что у нее летят брызги изо рта и на красных губах вскипают пузыри, как у детей.

Напротив, из пивной, на минуту выскакивает курчавый, испитой, бельмистый парень, обслуживающий, и бежит в соседний трактир.

– Прохор Иванович, а Прохор Иванович, – кричит Нюра, – не хотите ли, подсолнухами угощу?

– Заходите к нам в гости, – подхватывает Любка.

Нюра фыркает и добавляет сквозь давящий ее смех:

– На теплые ноги!

Но парадная дверь открывается, в ней показывается грозная и строгая фигура старшей экономки.

– Пфуй! Что это за безобразие? – кричит она начальственно. – Сколько раз вам повторять, что нельзя выскакивать на улицу днем и еще – пфуй! – в одном белье. Не понимаю, как это у вас нет никакой совести. Порядочные девушки, которые сами себя уважают, не должны вести себя так публично. Кажется, слава богу, вы не в солдатском заведении, а в порядочном доме. Не на Малой Ямской.

Девицы возвращаются в дом, забираются на кухню и долго сидят там на табуретах, созерцающая сердитую кухарку Прасковью, болтая ногами и молча грызя семечки.

В комнате у Маленькой Маньки, которую еще называют Манькой Скандалисткой и Манькой Беленькой, собралось целое общество. Сидя на краю кровати, она и другая девица, Зоя, высокая, красивая девушка, с круглыми бровями, с серыми глазами навыкате, с самым типичным белым, добрым лицом русской проститутки, играют в карты, в «шестьдесят шесть». Ближайшая подруга Маньки Маленькой, Женя, лежит за их спинами на кровати навзничь, читает растрепанную книжку «Ожерелье королевы», сочинение г. Дюма, и курит. Во всем заведении она единственная любительница чтения и читает запоем и без разбора. Но, против ожидания, усиленное чтение романов с приключениями вовсе не сделало ее сентиментальной и не

раскислило ее воображения. Более всего ей нравится в романах длинная, хитро задуманная и ловко распутанная интрига, великолепные поединки, перед которыми виконт развязывает банты у своих башмаков в знак того, что он не намерен отступить ни на шаг от своей позиции, и после которых маркиз, проткнувши насеквоздь графа, извиняется, что сделал отверстие в его прекрасном новом камзоле; кошельки, наполненные золотом, небрежно разбрасываемые налево и направо главными героями, любовные приключения и остроты Генриха IV, – словом, весь этот прянный, в золоте и кружевах, геройство прошедших столетий французской истории. В обыденной жизни она, наоборот, трезва умом, насмешлива, практична и цинично зла. По отношению к другим девицам заведения она занимает такое же место, какое в закрытых учебных заведениях принадлежит первому силачу, второгоднику, первой красавице в классе – тиранствующей и обожаемой. Она – высокая, худая брюнетка, с прекрасными карими, горящими глазами, маленьким гордым ртом, усиками на верхней губе и со смуглым нездоровым румянцем на щеках.

Не выпуская изо рта папироски и щурясь от дыма, она то и дело переворачивает страницы намусленным пальцем. Ноги у нее до колен голые, огромные ступни самой вульгарной формы: ниже больших пальцев резко выдаются внаружу острые, некрасивые, неправильные желваки.

Здесь же, положив ногу на ногу, немного согнувшись, с шитьем в руках, сидит Тамара, тихая, уютная, хорошенькая девушка, слегка рыжеватая, с тем темным и блестящим оттенком волос, который бывает у лисы зимою на хребте. Настоящее ее имя Гликерия, или Лукерия по-простонародному. Но уже давнишний обычай домов терпимости – заменять грубые имена Матрен, Агафий, Сиклитиний звучными, преимущественно экзотическими именами. Тамара когда-то была монахиней или, может быть, только послушницей в монастыре, и до сих пор в лице ее сохранилась бледная опухлость и пугливость, скромное и лукавое выражение, которое свойственно молодым монахиням. Она держится в доме особняком, ни с кем не дружит, никого не посвящает в свою прошлую жизнь. Но, должно быть, у нее, кроме монашества, было еще много приключений: что-то таинственное, молчаливое и преступное есть в ее неторопливом разговоре, в уклончивом взгляде ее густо – и темно-золотых глаз из-под длинных опущенных ресниц, в ее манерах, усмешках и интонациях скромной, но развратной святоши. Однажды вышел такой случай, что девицы чуть не с благоговейным ужасом услыхали, что Тамара умеет бегло говорить по-французски и по-немецки. В ней есть какая-то внутренняя сдержанная сила. Несмотря на ее внешнюю кротость и говорчивость, все в заведении относятся к ней с почтением и осторожностью: и хозяйка, и подруги, и обе экономки, и даже швейцар, этот истинный султан дома терпимости, всеобщая гроза и герой.

– Прикрыла, – говорит Зоя и поворачивает козырь, лежавший под колодой, рубашкой кверху – Выхожу с сорока, хожу с туза пик, пожалуйте, Манечка, десяточку. Кончила. Пятьдесят семь, одиннадцать, шестьдесят восемь. Сколько у тебя?

– Тридцать, – говорит Манька обиженным голосом, надувая губы, – ну да, тебе хорошо, ты все ходы помнишь.

Сдавай… Ну, так что же дальше, Тамарочка? – обращается она к подруге. – Ты говори, я слушаю.

Зоя стасовывает старые, черные, замаслившиеся карты и дает Мане снять, потом сдает, поплевав предварительно на пальцы.

Тамара в это время рассказывает Мане тихим голосом, не отрываясь от шитья.

– Вышивали мы гладью, золотом, напрестольники, воздухи, архиерейские облачения… травками, цветами, крестиками. Зимой сидишь, бывало, у окна, – окошки маленькие, с решетками, – свету немного, маслицем пахнет, ладаном, кипарисом, разговаривать нельзя было: матушка была строгая. Кто-нибудь от скуки затянет великопостный ирмос… «Вонми небо и возлаголю и воспою…» Хорошо пели, прекрасно, и такая тихая жизнь, и запах такой прекрасный, снежок за окном, ну вот точно во сне…

Женя опускает истрепанный роман себе на живот, бросает папиросу через Зоину голову и говорит насмешливо:

– Знаем мы вашу тихую жизнь. Младенцев в нужники выбрасывали. Лукавый-то все около ваших святых мест бродит.

– Сорок объявляю. Сорок шесть у меня было! Кончила! – возбужденно восклицает Манька Маленькая и плещет ладонями. – Открываю три.

Тамара, улыбаясь на слова Жени, отвечает с едва заметной улыбкой, которая почти не растягивает губы, а делает в их концах маленькие, лукавые, двусмысленные углубления, совсем как у Монны Лизы на портрете Леонардо да Винчи.

– Плетут много про монахинь-то мирские... Что же, если и бывал грех...

– Не согрешишь – не покаешься, – вставляет серьезно Зоя и мочит палец во рту.

– Сидишь, вышиваешь, золото в глазах рябит, а от утреннего стояния так вот спину и ломит и ноги ломит. А вечером опять служба. Постучишься к матушке в келию: «Молитвами святых отец наших. Господи, помилуй нас». А матушка из келий так баском ответит: «Амминь».

Женя смотрит на нее несколько времени пристально, покачивает головой и говорит многозначительно:

– Странная ты девушка, Тамара. Вот гляжу я на тебя и удивляюсь. Ну, я понимаю, что эти дуры, вроде Соньки, любовь крутят. На то они и дуры. А ведь ты, кажется, во всех золах печена, во всех щелоках стирана, а тоже позволяешь себе этакие глупости. Зачем ты эту рубашку вышиваешь?

Тамара не торопясь перекалывает поудобнее ткань на своем колене булавкой, заглаживает наперстком шов и говорит, не поднимая сожуренных глаз, чуть склонив голову набок:

– Надо что-нибудь делать. Скучно так. В карты я не играю и не люблю.

Женя продолжает качать головой.

– Нет, странная ты девушка, право, странная. От гостей ты всегда имеешь больше, чем мы все. Дура, чем копить деньги, на что ты их тратишь? Духи покупаешь по семи рублей за склянку Кому это нужно? Вот теперь набрала на пятнадцать рублей шелку Это ведь ты Сеньке своему?

– Конечно, Сенечке.

– Тоже нашла сокровище. Вор несчастный. Приедет в заведение, точно полководец какой. Как еще он не бьет тебя. Воры, они это любят. И обирает небось?

– Больше, чем я захочу, я не дам, – кротко отвечает Тамара и перекусывает нитку.

– Вот этому-то я удивляюсь. С твоим умом, с твоей красотой я бы себе такого гостя захороводила, что на содержание бы взял. И лошади свои были бы, и брильянты.

– Что кому нравится, Женечка. Вот и ты тоже хорошенъкая и милая девушка, и характер у тебя такой независимый и смелый, а вот застряли мы с тобой у Анны Марковны.

Женя вспыхивает и отвечает с непритворной горечью:

– Да! Еще бы! Тебе везет!.. У тебя все самые лучшие гости. Ты с ними делаешь, что хочешь, а у меня все – либо старики, либо грудные младенцы. Не везет мне. Одни сопливые, другие желторотые. Вот больше всего я мальчишк не люблю. Придет, гаденыш, трусит, торопится, дрожит, а сделал свое дело, не знает, куда глаза девать от стыда. Корчит его от омерзения. Так и дала бы по морде. Прежде чем рубль дать, он его в кармане в кулаке держит, горячий весь рубль-то, даже потный. Молокосос! Ему мать на французскую булку с колбасой дает гриненник, а он на девку сэкономил. Был у меня на днях один кадетик. Так я нарочно, назло ему говорю: «На тебе, миленький, на тебе карамелек на дорогу, пойдешь обратно в корпус – пососешь». Так он сперва обиделся, а потом взял. Я потом нарочно подглядела с крыльца: как вышел, оглянулся, и сейчас карамельку в рот. Поросенок!

– Ну, со стариками еще хуже, – говорит нежным голосом Манька Маленькая и лукаво заглядывает на Зою, – как ты думаешь, Зоинька?

Зоя, которая уже кончила играть и только что хотела зевнуть, теперь никак не может разеваться. Ей хочется не то сердиться, не то смеяться. У неё есть постоянный гость, какой-то высокопоставленный старишок с извращенными эротическими привычками. Над его визитами к ней потешается все заведение.

Зое удается, наконец, разеваться.

– Ну вас к чертовой матери, – говорит она сиплым, после зевка, голосом, – будь он проклят, старая анафема!

– А все-таки хуже всех, – продолжает рассуждать Женя, – хуже твоего директора, Зоинька, хуже моего кадета, хуже всех – ваши любовники. Ну что тут радостного: придет пьяный, ломается, издается, что-то такое хочет из себя изобразить, но только ничего у него не выходит. Скажите пожалуйста: мальчишечка. Хам хамом, грязный, избитый, вонючий, все тело в шрамах, только одна ему хвала: шелковая рубашка, которую ему Тамарка вышьет. Ругается, сухин сын, по-матерному, драться лезет. Тыфу! Нет, – вдруг воскликнула она веселым задорным голосом, – кого люблю верно и нeliцемерно, во веки веков, так это мою Манечку, Маньку Беленькую, Маньку Маленькую, мою Маньку Скандалисточку.

И неожиданно, обняв за плечи и грудь Маню, она притянула ее к себе, повалила на кровать и стала долго и сильно целовать ее волосы, глаза, губы. Манька с трудом вырвалась от нее с растрепанными светлыми, тонкими, пушистыми волосами, вся розовая от сопротивления и с опущенными влажными от стыда и смеха глазами.

– Оставь, Женечка, оставь. Ну что ты, право... Пусти!

Маня Маленькая – самая кроткая и тихая девушка во всем заведении. Она добра, уступчива, никогда не может никому отказать в просьбе, и невольно все относятся к ней с большой нежностью. Она краснеет по всякому пустяку и в это время становится особенно привлекательна, как умеют быть привлекательны очень нежные блондинки с чувствительной кожей. Но достаточно ей выпить три-четыре рюмки ликера-бенедиктина, который она очень любит, как она становится неузнаваемой и выделяет такие скандалы, что всегда требуется вмешательство экономок, швейцара, иногда даже полиции. Ей ничего не стоит ударить гостя по лицу или бросить ему в глаза стакан, наполненный вином, опрокинуть лампу, обругать хозяйку. Женя относится к ней с каким-то странным, нежным покровительством и грубым обожанием.

– Барышни, обедать! Обедать, барышни! – кричит, пробегая вдоль коридора, экономка Зоя. На бегу она открывает дверь в Манину комнату и кидает торопливо:

– Обедать, обедать, барышни!

Идут опять на кухню, все также в нижнем белье, все немывшиеся, в туфлях и босиком. Подают вкусный борщ со свиной кожей и с помидорами, котлеты и пирожное: трубочки со сливочным кремом. Но ни у кого нет аппетита, благодаря сидячей жизни и неправильному сну, а также потому, что большинство девиц, как институтки в праздник, уже успели днем послать в лавочку за халвой, орехами, ракат-лукумом, солеными огурцами и тянучками и этим испортили себе аппетит. Одна только Нина, маленькая, курносая, гнусавая деревенская девушка, всего лишь два месяца назад обольщенная каким-то коммивояжером и им же проданная в публичный дом, ест за четверых. У нее все еще не пропал чрезмерный, запасливый аппетит простолюдинки.

Женя, которая лишь брезгливо поковыряла котлетку и съела половину трубочки, говорит ей тоном лицемерного участия:

– Ты бы, Феклуша, скушала бы и мою котлетку Кушай, милая, кушай, не стесняйся, тебе надо поправляться. А знаете, барышни, что я вам скажу, – обращается она к подругам, – ведь у нашей Феклушки солитер, а когда у человека солитер, то он всегда ест за двоих: половину за себя, половину за глиству.

Нина сердито сопит и отвечает неожиданным для ее роста басом и в нос:

– Никаких у меня нет глистов. Это у вас есть глисты, оттого вы такая худая.

И она невозмутимо продолжает есть и после обеда чувствует себя сонной, как удав, громко рыгает, пьет воду, икает и украдкой, если никто не видит, крестит себе рот по старой привычке.

Но вот уже в коридорах и комнатах слышится звонкий голос Зоей:

– Одеваться, барышни, одеваться. Нечего рассиживаться… На работу…

Через несколько минут во всех комнатах заведения пахнет паленым волосом, борнотимоловым мылом, дешевым одеколоном. Девицы одеваются к вечеру.

IV

Настали поздние сумерки, а за ними теплая, темная ночь, но еще долго, до самой полуночи, тлела густая малиновая заря. Швейцар заведения Симеон зажег все лампы по стенам залы и люстру, а также красный фонарь над крыльцом. Симеон был сухопарый, сутуловатый, молчаливый и суровый человек, с прямыми широкими плечами, брюнет, шадровитый, с вылезшими от оспы плешинаами бровями и усами и с черными, матовыми, наглыми глазами. Днем он бывал свободен и спал, а ночью сидел безотлучно в передней под рефлектором, чтобы раздевать и одевать гостей и быть готовым на случай всякого беспорядка.

Пришел тапер – высокий, белобрысый деликатный молодой человек с бельмом на правом глазу. Пока не было гостей, он с Исаи Саввичем потихоньку разучивали «pas d'Espagne»¹ – танец, начинавший входить в то время в моду За каждый танец, заказанный гостями, они получали тридцать копеек за легкий танец и по полтиннику за кадриль. Но одну половину из этой цены брала себе хозяйка, Анна Марковна, другую же музыканты делили поровну Таким образом, тапер получал только четверть из общего заработка, что, конечно, было несправедливо, потому что Исаи Саввич играл самоучкой и отличался деревянным слухом. Таперу приходилось постоянно его натаскивать на новые мотивы, поправлять и заглушать его ошибки громкими аккордами. Девицы с некоторой гордостью рассказывали гостям о тапере, что он был в консерватории и шел все время первым учеником, но так как он еврей и к тому же заболел глазами, то ему не удалось окончить курса. Все они относились к нему очень бережно и внимательно, с какой-то участливой, немножко приторной жалостливостью, что весьма вяжется с внутренними закулисными нравами домов терпимости, где под внешней грубостью и щегольством похабными словами живет такая же слашавая, истеричная сентиментальность, как и в женских пансионах и, говорят, в каторжных тюрьмах.

Все уже были одеты и готовы к приему гостей в доме Анны Марковны и томились бездельем и ожиданием. Несмотря на то, что большинство женщин испытывало к мужчинам, за исключением своих любовников, полное, даже несколько презгливое равнодушие, в их душах перед каждым вечером все-таки оживали и шевелились смутные надежды: неизвестно, кто их выберет, не случится ли чего-нибудь необыкновенного, смешного или увлекательного, не удивит ли гость своей щедростью, не будет ли какого-нибудь чуда, которое перевернет всю жизнь? В этих предчувствиях и надеждах было нечто похожее на те волнения, которые испытывает привычный игрок, пересчитывающий перед отправлением в клуб свои наличные деньги. Кроме того, несмотря на свою бесполость, они все-таки не утеряли самого главного, инстинктивного стремления женщин – нравиться.

И правда, иногда приходили в дом совсем диковинные лица и происходили сумбурные, пестрые события. Являлась вдруг полиция вместе с переодетыми сыщиками и арестовывала каких-нибудь приличных на вид, безукоризненных джентльменов и уводила их, толкая в шею.

¹ падеспань (*фр.*).

Порою завязывались драки между пьяной скандальной компанией и швейцарами изо всех заведений, сбегавшимися на выручку товарищу, швейцару, – драки, во время которых разбивались стекла в окнах и форtepianные деки, когда выламывались, как оружие, ножки улющевых стульев, кровь заливалась паркет в зале и ступеньки лестницы, и люди с проткнутыми боками и проломленными головамивались в грязь у подъезда, к звериному, жадному воссторгу Женьки, которая с горящими глазами, со счастливым смехом лезла в самую гущу свалки, хлопала себя по бедрам, бранилась и наусыкивала, в то время как ее подруги визжали от страха и прятались под кровати.

Случалось, приезжал со стаей прихлебателей какой-нибудь артельщик или кассир, давно уже зарвавшийся в многотысячной растрате, в карточной игре и безобразных кутежах и теперь дошвыривающий, перед самоубийством или скамьей подсудимых, в угарном, пьяном, нелепом бреду последние деньги. Тогда запирались нагло двери и окна дома, и двое суток кряду шла кошмарная, скучная, дикая, с выкриками и слезами, с надругательством над женским телом, русская оргия, устраивались райские ночи, во время которых уродливо кривлялись под музыку нагишом пьяные, кривоногие, волосатые, брюхатые мужчины и женщины с дряблыми, желтыми, обвисшими, жидкими телами, пили и жрали, как свиньи, в кроватях и на полу, среди душной, проспиртованной атмосферы, загаженной человеческим дыханием и испарениями нечистой кожи.

Изредка появлялся в заведении цирковый атлет, производивший в невысоких помещениях странно-громоздкое впечатление, вроде лошади, введенной в комнату, китаец в синей кофте, белых чулках и с косой, негр из кафешантана в смокинге и клетчатых панталонах, с цветком в петлице и в крахмальном белье, которое, к удивлению девиц, не только не пачкалось от черной кожи, но казалось еще более ослепительно блестящим.

Эти редкие люди будоражили пресыщенное воображение проституток, возбуждали их истощенную чувственность и профессиональное любопытство, и все они, почти влюбленные, ходили за ними следом, ревнуя и огрызаясь друг на друга.

Был случай, что Симеон впустил в залу какого-то пожилого человека, одетого по-мещански. Ничего не было в нем особенного: строгое, худое лицо с выдающимися, как желваки, костищами, злобными скулами, низкий лоб, борода клином, густые брови, один глаз заметно выше другого. Войдя, он поднес ко лбу сложенные для креста пальцы, но, пошарив глазами по углам и не найдя образа, нисколько не смущаясь, опустил руку, плонул и тотчас же с деловым видом подошел к самой толстой во всем заведении девице – Катьке.

– Пойдем! – скомандовал он коротко и мотнул решительно головой на дверь.

Но во время его отсутствия всезнающий Симеон с таинственным и даже несколько гордым видом успел сообщить своей тогдашней любовнице Нюре, а она шепотом, с ужасом в округлившихся глазах, рассказала подругам по секрету о том, что фамилия мещанина – Дядченко и что он прошлой осенью вызвался, за отсутствием палача, совершив казнь над одиннадцатью бунтовщиками и собственноручно повесил их в два утра. И – как это ни чудовищно – не было в этот час ни одной девицы во всем заведении, которая не почувствовала бы зависимости к толстой Катьке и не испытала бы жуткого, терпкого, головокружительного любопытства. Когда Дядченко через полчаса уходил со своим степенным и суровым видом, все женщины безмолвно, разинув рты, провожали его до выходной двери и потом следили за ним из окон, как он шел по улице. Потом кинулись в комнату одевавшейся Катьки и засыпали ее расспросами. Глядели с новым чувством, почти с изумлением на ее голые, красные, толстые руки, на смятую еще постель, на бумажный старый, засаленный рубль, который Катька показала им, вынув его из чулка. Катька ничего не могла рассказать – «мужчина как мужчина, как все мужчины», – говорила она со спокойным недоумением, но когда узнала, кто был ее гостем, то вдруг расплакалась, сама не зная почему.

Этот человек, отверженный из отверженных, так низко упавший, как только может представить себе человеческая фантазия, этот добровольный палач, обошелся с ней без грубоści, но с таким отсутствием хоть бы намека на ласку, с таким пренебрежением и деревянным равнодушием, как обращаются не с человеком, даже не с собакой или лошадью, и даже не с зонтиком, пальто или шляпой, а как с каким-то грязным предметом, в котором является минутная неизбежная потребность, но который по миновании надобности становится чуждым, бесполезным и противным. Всего ужаса этой мысли толстая Катька не могла обять своим мозгом откормленной индошки и потому плакала, – как и ей самой казалось, – беспричинно и бестолково.

Бывали и другие происшествия, взбалтывавшие мутную, грязную жизнь этих бедных, больных, глупых, несчастных женщин. Бывали случаи дикой, необузданной ревности с пальбой из револьвера и отравлением; иногда, очень редко, расцветала на этом навозе нежная, пламенная и чистая любовь; иногда женщины даже покидали при помощи любимого человека заведение, но почти всегда возвращались обратно. Два или три раза случалось, что женщина из публичного дома вдруг оказывалась беременной, и это всегда бывало, по внешности, смешно и позорно, но в глубине события – трогательно.

И как бы то ни было, каждый вечер приносил с собою такое раздражающее, напряженное, пряное ожидание приключений, что всякая другая жизнь, после дома терпимости, казалась этим ленивым, безвольным женщинам пресной и скучной.

V

Окна раскрыты настежь в душистую темноту вечера, и тюлевые занавески слабо колышутся взад и вперед от незаметного движения воздуха. Пахнет росистой травой из чахлого маленького палисадника перед домом, чуть-чуть сиренью и вянущим березовым листом от троицких деревцов у подъезда. Люба в синей бархатной кофте с низко вырезанной грудью и Нюра, одетая, как «бебе», в розовый широкий сак до колен, с распущенными светлыми волосами и с кудряшками на лбу, лежат, обнявшись, на подоконнике и поют потихоньку очень известную между проститутками злободневную песню про больницу. Нюра тоненько, в нос, выводит первый голос, Люба вторит ей глуховатым альтом:

Понедельник наступает,
Мне на выписку идти,
Доктор Красов не пускает...

Во всех домах отворенные окна ярко освещены, а перед подъездами горят висячие фонари. Обеим девушкам отчетливо видна внутренность залы в заведении Софии Васильевны, что напротив: желтый блестящий паркет, темновишневые драпри на дверях, перехваченные шнурями, конец черного рояля, трюмо в золоченой раме и то мелькающие в окнах, то скрывающиеся женские фигуры в пышных платьях и их отражения в зеркалах. Резное крыльце Треппеля, направо, ярко озарено голубоватым электрическим светом из большого матового шара.

Вечер тих и тепел. Где-то далеко-далеко, за линией железной дороги, за какими-то черными крышами и тонкими черными стволами деревьев, низко над темной землей, в которой глаз не видит, а точно чувствует могучий зеленый весенний тон, рдеет алым золотом, прорезавшись сквозь сизую мглу, узкая, длинная полоска поздней зари. И в этом неясном дальнем свете, в ласковом воздухе, в запахах наступающей ночи была какая-то тайная, сладкая, сознательная печаль, которая бывает так нежна в вечера между весной и летом. Плыл неясный шум города, слышался скучающий гнусавый напев гармонии, мычание коров, сухо шаркали чьи-то подошвы, и звонко стучала окованная палочка о плиты тротуара, лениво и неправильно погромыхивали колеса извозчикей пролетки, катившейся шагом по Яме, и все эти звуки сплета-

лись красиво и мягко в задумчивой дремоте вечера. И свистки паровозов на линии железной дороги, обозначенной в темноте зелеными и красными огоньками, раздавались с тихой, певучей осторожностью.

Вот сиделочка приходил,
Булку с сахаром несет...
Булку с сахаром несет,
Всем поровну раздает.

– Прохор Иванович! – вдруг окликает Нюра кудрявого слугу из пивной, который легким черным силуэтом перебегает через дорогу – А Прохор Иваныч!

– Ну вас! – сипло огрызается тот. – Чего еще?

– Вам велел кланяться один ваш товарищ. Я его сегодня видела.

– Какой такой товарищ?

– Такой хорошенъкий! Брюнетик симпатичный... Нет, а вы спросите лучше, где я его видела?

– Ну где? – Прохор Иванович приостанавливается на минуту

– А вот где: у нас на гвозде, на пятой полке, где дохлые волки.

– Ат! Дура еловая.

Нюра хохочет визгливо на всю Яму и валится на подоконник, брыкая ногами в высоких черных чулках. Потом, перестав смеяться, она сразу делает круглые удивленные глаза и говорит шепотом:

– А знаешь, девушка, ведь он в позапрошлом году женщину одну зарезал. Прохор-то. Ей-богу

– Ну? До смерти?

– Нет, не до смерти. Выкачалась, – говорит Нюра, точно с сожалением. – Однако два месяца пролежала в Александровской. Доктора говорили, что если бы на вот-вот столечко повыше, – то кончено бы. Амба!

– За что же он ее?

– А я знаю? Может быть, деньги от него скрывала или изменила. Любовник он у ней был – кот.

– Ну и что же ему за это?

– А ничего. Никаких улик не было. Была тут общая склоки. Человек сто дралось. Она тоже в полицию заявила, что никаких подозрений не имеет. Но Прохор сам потом хвалился: я, говорит, в тот раз Дуньку не зарезал, так в другой раз дорежу Она, говорит, от моих рук не уйдет. Будет ей амба!

Люба вздрагивает всей спиной.

– Отчаянные они, эти коты! – произносит она тихо, с ужасом в голосе.

– Страсть до чего! Я, ты знаешь, с нашим Симеоном крутила любовь целый год. Такой ирод, подлец! Живого места на мне не было, вся в синяках ходила. И не то чтобы за что-нибудь, а просто так, пойдет утром со мной в комнату, запрется и давай меня терзать. Руки выкручивает, за груди щиплет, душить начнет за горло. А то целует-целует, да как куснет за губы, так кровь аж и брызнет... я заплачу, а ему только этого и нужно. Так зверем на меня и кинется, аж задрожит. И все деньги от меня отбирал, ну вот все до копеечки. Не на что было десятка папирос купить. Он ведь скупой, Симеон-то, все на книжку, на книжку относит... Говорит, что, как соберет тысячу рублей, – в монастырь уйдет.

– Ну?

– Ей-богу Ты посмотри у него в комнатке: круглые сутки, днем и ночью, лампадка горит перед образами. Он очень до бога усердный… Только я думаю, что он оттого такой, что тяжелые грехи на нем. Убийца он.

– Да что ты?

– Ах, да ну его, бросим о нем, Любочка. Ну, давай дальше:

Пойду в хаптеку, куплю я ха-ду,
Сама себя я хатравлю, —

заводит Нюра тоненьким голоском.

Женя ходит взад и вперед по зале, подбоченившись, раскачиваясь на ходу и заглядывая на себя во все зеркала. На ней надето короткое атласное оранжевое платье с прямыми глубокими складками на юбке, которая мерно колеблется влево и вправо от движения ее бедер. Маленькая Манька, страстная любительница карточной игры, готовая играть с утра до утра не переставая, дуется в «шестьдесят шесть» с Пашей, причем обе женщины для удобства сдачи оставили между собою пустой стул, а взятки собирают себе в юбки, распяленные между коленями. На Маньке коричневое, очень скромное платье, с черным передником и плоеным черным нагрудником; этот костюм очень идет к ее нежной белокурой головке и маленькому росту, молодит ее и делает похожей на гимназистку предпоследнего класса.

Ее партнерша Паша – очень странная и несчастная девушка. Ей давно бы нужно быть не в доме терпимости, а в психиатрической лечебнице из-за мучительного нервного недуга, заставляющего ее исступленно, с болезненной жадностью отдаваться каждому мужчине, даже самому противному, который бы ее ни выбрал. Подруги издеваются над нею и несколько презирают ее за этот порок, точно как за какую-то измену корпоративной вражде к мужчинам. Нюра очень похоже передразнивает ее вздохи, стоны, выкрики и страстные слова, от которых она никогда не может удержаться в минуты экстаза и которые бывают слышны через две или три перегородки в соседних комнатах. Про Пашу ходит слух, что она вовсе не по нужде и не соблазном или обманом попала в публичный дом, а поступила в него сама, добровольно, следуя своему ужасному ненасытному инстинкту. Но хозяйка дома и обе экономки всячески балуют Пашу и поощряют ее безумную слабость, потому что благодаря ей Паша идет нарасхват и зарабатывает вчетверо, впятеро больше любой из остальных девушек, – зарабатывает так много, что в бойкие праздничные дни ее вовсе не выводят к гостям «посерее» или отказывают им под предлогом Пашиной болезни, потому что постоянные хорошие гости обижаются, если им говорят, что их знакомая девушка занята с другим. А таких постоянных гостей у Паши пропасть; многие совершенно искренно, хотя и по-скотски, влюблены в нее, и даже не так давно двое почти одновременно звали ее на содержание: грузин – приказчик из магазина кахетинских вин – и какой-то железнодорожный агент, очень гордый и очень бедный дворянин высокого роста, с махровыми манжетами, с глазом, замененным черным кружком на резинке. Паша, пассивная во всем, кроме своего безличного сладострастия, конечно, пошла бы за всяkim, кто позвал бы ее, но администрация дома зорко оберегает в ней свои интересы. Близкое безумие уже сквозит в ее миловидном лице, в ее полузакрытых глазах, всегда улыбающихся какой-то хмельной, блаженной, кроткой, застенчивой и непристойной улыбкой, в ее томных, размягченных, мокрых губах, которые она постоянно облизывает, в ее коротком тихом смехе – смехе идиотки. И вместе с тем она – эта истинная жертва общественного темперамента – в обиходной жизни очень добродушна, уступчива, совершенная бессребреница и очень стыдится своей чрезмерной страсти. К подругам она нежна, очень любит целоваться и обниматься с ними и спать в одной постели, но ею все как будто бы немного брезгуют.

– Манечка, душечка, миленькая, – говорит умильно Паша, дотрогиваясь до Маниной руки, – погадай мне, золотая моя деточка.

– Ну-у, – надувает Маня губы, точно ребенок. – Поигра-аем еще.

– Манечка, хорошенъкая, пригоженькая, золотцо мое, родная, дорогая…

Маня уступает и раскладывает колоду у себя на коленях. Червонный дом выходит, небольшой денежный интерес и свидание в пиковом доме при большой компании с трефовым королем.

Паша всплескивает радостно руками:

– Ах, это мой Леванчик! Ну да, он обещал сегодня прийти. Конечно, Леванчик.

– Это твой грузин?

– Да, да, мой грузинчик. Ох, какой он приятный. Так бы никогда его от себя не отпустила. Знаешь, он мне в последний раз что сказал? «Если ты будешь еще жить в публичном доме, то я сделаю и тэбэ смерть и сэбэ сделаю смерть». И так глазами на меня сверкнул.

Женя, которая остановилась вблизи, прислушивается к ее словам и спрашивает высокомерно:

– Это кто это так сказал?

– А мой грузинчик Леван. И тебе смерть, и мне смерть.

– Дура. Ничего он не грузинчик, а просто армянка. Сумасшедшая ты дура.

– Ан нет, грузин. И довольно странно с твоей стороны…

– Говорю тебе – армянка. Мне лучше знать. Дура!

– Чего же ты ругаешься, Женя? Я же тебя первая не ругала.

– Еще бы ты первая стала ругаться. Дура! Не все тебе равно, кто он такой? Влюблена ты в него, что ли?

– Ну и влюблена!

– Ну и дура. А в этого, с кокардой, в кривого, тоже влюблена?

– Так что же? Я его очень уважаю. Он очень солидный.

– И в Кольку-бухгалтера? И в подрядчика? И в Антошку-картошку? И в актера толстого? У-у, бесстыдница! – вдруг вскрикивает Женя. – Не могу видеть тебя без омерзения. Сука ты! Будь я на твоем месте такая разнесчастная, я бы лучше руки на себя наложила, удавилась бы на шнурке от корсета. Гадина ты!

Паша молча опускает ресницы на глаза, налившиеся слезами. Маня пробует заступиться за нее.

– Что уж это ты так, Женечка… Зачем ты на нее так…

– Эх, все вы хороши! – резко обрывается Женя. – Никакого самолюбия!.. Приходит хам, покупает тебя, как кусок говядины, нанимает, как извозчика, по таксе, для любви на час, а ты и раскисла: «Ах, любовничек! Ах, неземная страсть!» Тыфу!

Она гневно поворачивается к ним спиной и продолжает свою прогулку по диагонали залы, покачивая бедрами и щурясь на себя в каждое зеркало.

В это время Исаак Давидович, татар, все еще бьется с неподатливым скрипачом.

– Не так, не так, Исаак Саввич. Вы бросьте скрипку на минуточку Прислушайтесь немножко ко мне. Вот мотив.

Он играет одним пальцем и напевает тем ужасным козлиным голосом, каким обладают все капельмейстеры, в которые он когда-то готовился:

– Эс-там, эс-там, зс-тиам-тиам. Ну теперь повторяйте за мною первое колено за первый раз… Ну… ейн, цвей…

За их репетицией внимательно следят: сероглазая, круглицая, круглобровая, беспощадно намазавшаяся дешевыми румянами и белилами Зоя, которая облокотилась на фортепиано, и Вера, жиденькая, с испитым лицом, в костюме жокея: в круглой шапочке с прямым козырьком, в шелковой полосатой, синей с белым, курточке, в белых, обтянутых туго рейтузах и в лакированных сапожках с желтыми отворотами. Вера и в самом деле похожа на жокея, с своим узким лицом, на котором очень блестящие голубые глаза, под спущенной на лоб лихой

гривой, слишком близко посажены к горбатому, нервному, очень красивому носу. Когда наконец, после долгих усилий, музыканты слаживаются, низенькая Вера подходит к рослой Зое той мелкой, связанной походкой, с оттопыренным задом и локтями на отлете, какой ходят только женщины в мужских костюмах, и делает ей, широко разводя вниз руками, комический мужской поклон. И они с большим удовольствием начинают носиться по зале.

Прыткая Нюра, всегда первая объявляющая все новости, вдруг соскаивает с подоконника и кричит, захлебываясь от волнения и торопливости:

– К Треппелю... подъехали... лихач... с электричеством... Ой, девоныки... умереть на месте... на оглоблях электричество.

Все девицы, кроме гордой Жени, высовываются из окон. Около треппелевского подъезда действительно стоит лихач. Его новенькая щегольская пролетка блестит свежим лаком, на концах оглобель горят желтым светом два крошечных электрических фонарика, высокая белая лошадь нетерпеливо мотает красивой головой с голым розовым пятном на храпе, перебирает на месте ногами и придет тонкими ушами; сам бородатый, толстый кучер сидит на козлах, как изваяние, вытянув прямо вдоль колен руки.

– Вот бы прокатиться! – взвизгивает Нюра. – Дяденька-лихач, а дяденька-лихач, – кричит она, перевешиваясь через подоконник, – прокатай бедную девочонку... Прокатай за любовь...

Но лихач смеется, делает чуть заметное движение пальцами, и белая лошадь тотчас же, точно она только этого и дожидалась, берет с места доброй рысью, красиво заворачивает назад и с мерной быстротой уплывает в темноту вместе с пролеткой и широкой спиной кучера.

– Пфуй! Безобразие! – раздается в комнате негодующий голос Эммы Эдуардовны. – Ну где это видано, чтобы порядочные барышни позволяли себе вылезать на окошко и кричать на всю улицу. О, скандал! И все Нюра, и всегда эта ужасная Нюра!

Она величественна в своем черном платье, с желтым дряблым лицом, с темными мешками под глазами, с тремя висящими дрожащими подбородками. Девицы, как провинившиеся пансионерки, чинно рассаживаются по стульям вдоль стен, кроме Жени, которая продолжает созерцать себя во всех зеркалах. Еще два извозчика подъезжают напротив, к дому Софии Васильевны. Яма начинает оживляться. Наконец еще одна пролетка грохочет по мостовой, и шум ее сразу обрывается у подъезда Анны Марковны.

Швейцар Симеон помогает кому-то раздеться в передней. Женя заглядывает туда, держась обеими руками за дверные косяки, но тотчас же оборачивается назад и на ходу пожимает плечами и отрицательно трясет головой.

– Не знаю, какой-то совсем незнакомый, – говорит она вполголоса. – Никогда у нас не был. Какой-то папашка, толстый, в золотых очках и в форме.

Эмма Эдуардовна командует голосом, звучащим, как призывная кавалерийская труба:

– Барышни, в залу! В залу, барышни!

Одна за другой надменными походками выходят в залу: Тамара с голыми белыми руками и обнаженной шеей, обвитой ниткой искусственного жемчуга, толстая Катька с мясистым четырехугольным лицом и низким лбом – она тоже декольтирована, но кожа у нее красная и в пупырышках; новенькая Нина, курносая и неуклюжая, в платье цвета зеленого попугая; другая Манька – Манька Большая, или Мань-ка Крокодил, как ее называют, и – последней – Сонька Руль, еврейка, с некрасивым темным лицом и чрезвычайно большим носом, за который она и получила свою кличку, но с такими прекрасными большими глазами, одновременно кроткими и печальными, горящими и влажными, какие среди женщин всего земного шара бывают только у евреек.

VI

Пожилой гость в форме благотворительного ведомства вошел медленными, нерешительными шагами, наклоняясь при каждом шаге немного корпусом вперед и потирая кругообразными движениями свои ладони, точно умывая их. Так как все женщины торжественно молчали, точно не замечая его, то он пересек залу и опустился на стул рядом с Любой, которая согласно этикету только подобрала немного юбку, сохраняя рассеянный и независимый вид девицы из порядочного дома.

– Здравствуйте, барышня, – сказал он.
– Здравствуйте, – отрывисто ответила Люба.
– Как вы поживаете?
– Спасибо, благодарю вас. Угостите покурить.
– Извините – некурящий.
– Вот так-так. Мужчина и вдруг не курит. Ну так угостите лафитом с лимонадом. Ужас как люблю лафит с лимонадом.

Он промолчал.

– У, какой скупой, папашка! Вы где это служите? Вы – чиновники?
– Нет, я учитель. Учу немецкому языку.
– А я вас где-то видела, папочка. Ваша физиономия мне знакома. Где я с вами встречалась?

– Ну уж не знаю, право. На улице разве.

– Может быть, и на улице… Вы хотя бы апельсином угостили. Можно спросить апельсин?

Он опять замолчал, озираясь кругом. Лицо у него заблестело, и прыщи на лбу стали красивыми. Он медленно оценивал всех женщин, выбирая себе подходящую и в то же время стесняясь своим молчанием. Говорить было совсем не о чем; кроме того, равнодушная назойливость Любы раздражала его. Ему нравилась своим большим коровьим телом толстая Катя, но, должно быть, – решал он в уме, – она очень холодна в любви, как все полные женщины, и к тому же некрасива лицом. Возбуждала его также и Вера своим видом мальчишки и крепкими ляжками, плотно охваченными белым трико, и Беленькая Маня, так похожая на невинную гимназистку, и Женя со своим энергичным, смуглым, красивым лицом. Одну минуту он совсем уж было остановился на Жене, но только дернулся на стуле и не решился: по ее развязному, недоступному и небрежному виду и по тому, как она искренно не обращала на него никакого внимания, он догадывался, что она – самая избалованная среди всех девиц заведения, привыкшая, чтобы на нее посетители шире тратились, чем на других. А педагог был человек расчетливый, обремененный большим семейством и истощенной, исковерканной его мужской требовательностью женой, страдавшей множеством женских болезней. Преподавая в женской гимназии и в институте, он постоянно жил в каком-то тайном сладострастном бреду, и только немецкая выдержка, сккупость и трусость помогали ему держать в узде свою вечно возбужденную похоть. Но раза два-три в год он с невероятными лишениями выкраивал из своего нищенского бюджета пять или десять рублей, отказывая себе в любимой вечерней кружке пива и выгадывая на конках, для чего ему приходилось делать громадные концы по городу пешком. Эти деньги он отделял на женщин и тратил их медленно, со вкусом, стараясь как можно более продлить и удешевить наслаждение. И за свои деньги он хотел очень многое, почти невозможного: его немецкая сентиментальная душа смутно жаждала невинности, робости, поэзии в белокуром образе Гретхен, но, как мужчина, он мечтал, хотел и требовал, чтобы его ласки приводили женщину в восторг, и трепет, и в сладкое изнеможение.

Впрочем, того же самого добивались все мужчины – даже самые ледающие, уродливые, скрюченные и бессильные из них, – и древний опыт давно уже научил женщин имитировать

голосом и движениями самую пылкую страсть, сохраняя в бурные минуты самое полнейшее хладнокровие.

— Хоть, по крайности, закажите музыкантам сыграть полечку. Пусть барышни потанцуют, — попросила ворчливо Люба.

Это было ему с руки. Под музыку, среди толкотни танцев, было гораздо удобнее решиться встать, увести из залы одну из девиц, чем сделать это среди общего молчания и чопорной неподвижности.

— А сколько это стоит? — спросил он осторожно.

— Кадриль — полтинник, а такие танцы — тридцать копеек. Так можно?

— Ну что ж... пожалуйста... Мне не жаль... — согласился он, притворяясь щедрым. — Кому здесь сказать?

— А вон, музыкантам.

— Отчего же... я с удовольствием... Господин музыкант, пожалуйста, что-нибудь из легких танцев, — сказал он, кладя серебро на фортепиано.

— Что прикажете? — спросил Исаи Саввич, пряча деньги в карман. — Вальс, польку, польку-мазурку?

— Ну... что-нибудь такое...

— Вальс, вальс! — закричала с своего места Вера, большая любительница танцевать.

— Нет, польку!.. Вальс!.. Венгерку!.. Вальс! — потребовали другие.

— Пускай играют польку, — решила капризным тоном Люба. — Исаи Саввич, сыграйте, пожалуйста, полечку. Это мой муж, и он для меня заказывает, — прибавила она, обнимая за шею педагога. — Правда, папочка?

Но он высвободился из-под ее руки, втянув в себя голову, как черепаха, и она без всякой обиды пошла танцевать с Нюрой. Кружились и еще три пары. В танцах все девицы старались держать талию как можно прямее, а голову как можно неподвижнее, с полным безучастием на лицах, что составляло одно из условий хорошего тона заведения. Под шумок учитель подошел к Маньке Маленькой.

— Пойдемте? — сказал он, подставляя руку калачиком.

— Поедемте, — ответила она, смеясь.

Она привела его в свою комнату, убранную со всей кокетливостью спальни публичного дома средней руки: комод, покрытый вязаной скатертью, и на нем зеркало, букет бумажных цветов, несколько пустых бонбоньерок, пудреница, выцветшая фотографическая карточка белобрысого молодого человека с гордо-изумленным лицом, несколько визитных карточек; над кроватью, покрытой пикейным розовым одеялом, вдоль стены прибит ковер с изображением турецкого султана, нежащегося в своем гареме, с кальяном во рту; на стенах еще несколько фотографий франтоватых мужчин лакейского и актерского типа; розовый фонарь, свешивающийся на цепочках с потолка; круглый стол под ковровой скатертью, три венских стула, эмалированный таз и такой же кувшин в углу на табуретке, за кроватью.

— Угости, милочка, лафитом с лимонадом, — попросила, по заведенному обычанию, Манька Маленькая, расстегивая корсаж.

— Потом, — сурово ответил педагог. — Это от тебя самой будет зависеть. И потом: какой же здесь у вас может быть лафит? Бурда какая-нибудь.

— У нас хороший лафит, — обидчиво возразила девушка. — Два рубля бутылка. Но если ты такой скупой, купи хоть пива. Хорошо?

— Ну, пива, это можно.

— А мне лимонаду и апельсинов. Да?

— Лимонаду бутылку — да, а апельсинов — нет. Потом, может быть, я тебя даже и шампанским угощу, все от тебя будет зависеть. Если постараешься.

— Так я спрошу, папашка, четыре бутылки пива и две лимонаду? Да? И для меня хоть плиточку шоколаду. Хорошо? Да?

— Две бутылки пива, бутылку лимонаду и больше ничего. Я не люблю, когда со мной торгаются. Если надо, я сам потребую.

— А можно мне одну подругу пригласить?

— Нет, уж пожалуйста, без всяких подруг.

Манька высунулась из двери в коридор и крикнула звонко:

— Экономочка! Две бутылки пива и для меня бутылку лимонаду.

Пришел Симеон с подносом и стал с привычной быстротой откупоривать бутылки. Следом за ним пришла экономка Зося.

— Ну вот, как хорошо устроились. С законным браком! — поздравила она.

— Папаша, гости экономочку пивом, — попросила Манька. — Кушайте, экономочка.

— Ну, в таком случае за ваше здоровье, господин. Что-то лицо мне ваше точно знакомо?

Немец пил пиво, обсасывая и облизывая усы, и нетерпеливо ожидал, когда уйдет экономка. Но она, поставив свой стакан и поблагодарив, сказала:

— Позвольте, господин, получить с вас деньги. За пиво, сколько следует, и за время. Это и для вас лучше, и для нас удобнее.

Требование денег покоробило учителя, потому что совершенно разрушало сентиментальную часть его намерений. Он рассердился:

— Что это, в самом деле, за хамство! Кажется, я бежать не собираюсь отсюда. И потом, разве вы не умеете разбирать людей? Видите, что к вам пришел человек порядочный, в форме, а не какой-нибудь босяк. Что за назойливость такая!

Экономка немного сдалась.

— Да вы не обижайтесь, господин. Конечно, за визит вы сами барышне отадите. Я думаю, не обидите, она у нас девочка славная. А уж за пиво и лимонад погордитесь заплатить. Мне тоже хозяйке надо отчет отдавать. Две бутылки пива, по пятидесяти — рубль и лимонад тридцать — рубль тридцать.

— Господи, бутылка пива пятьдесят копеек! — возмутился немец. — Да я в любой портерной достану его за двенадцать копеек.

— Ну и идите в портерную, если там дешевле, — обиделась Зося. — А если вы пришли в приличное заведение, то это уже казенная цена — полтинник. Мы ничего лишнего не берем. Вот так-то лучше. Двадцать копеек вам сдачи?

— Да, *непременно* сдачи, — твердо подчеркнул учитель. — И прошу вас, чтобы больше никто не входил.

— Нет, нет, нет, что вы, — засуетилась около двери Зося. — Располагайтесь, как вам будет угодно, в полное свое удовольствие. Приятного вам аппетита.

Манька заперла за нею дверь на крючок и села немцу на одно колено, обняв его голой рукой.

— Ты давно здесь? — спросил он, прихлебывая пиво. Он чувствовал смутно, что то подражание любви, которое сейчас должно произойти, требует какого-то душевного сближения, более интимного знакомства, и поэтому, несмотря на свое нетерпение, начал обычный разговор, который ведется почти всеми мужчинами наедине с проститутками и который заставляет их лгать почти механически, лгать без огорчения, увлечения или злобы, по одному престарому трафарету.

— Недавно, всего третий месяц.

— А сколько тебе лет?

— Шестнадцать, — соврала Маленькая Манька, убавив себе пять лет.

— О, такая молоденькая! — удивился немец и стал, нагнувшись и кряхтя, снимать сапоги. — Как же ты сюда попала?

— А меня один офицер лишил невинности там… у себя на родине. А мамаша у меня ужас какая строгая. Если бы она узнала, она бы меня собственными руками задушила. Ну вот я и убежала из дома и поступила сюда…

— А офицера-то ты любила, который первый-то?

— Коли не любила бы, то не пошла бы к нему. Он, подлец, жениться обещал, а потом добился, чего ему нужно, и бросил.

— Что же, тебе стыдно было в первый раз?

— Конечно, что стыдно… Ты как, папашка, любишь со светом или без света? Я фонарь немножко притушу. Хорошо?

— А что же, ты здесь не скучаешь? Как тебя зовут?

— Маней. Понятно, что скучаю. Какая наша жизнь!

Немец поцеловал ее крепко в губы и опять спросил:

— А мужчин ты любишь? Бывают мужчины, которые тебе приятны? Доставляют удовольствие?

— Как не бывать, — засмеялась Манька. — Я особенно люблю вот таких, как ты, симпатичных, толстеньких.

— Любишь? А? Отчего любишь?

— Да уж так люблю. Вы тоже симпатичный.

Немец соображал несколько секунд, задумчиво отхлебывая пиво. Потом сказал то, что почти каждый мужчина говорит проститутке в эти минуты, предшествующие случайному обладанию ее телом:

— Ты знаешь, Марихен, ты мне тоже очень нравишься. Я бы охотно взял тебя на содержание.

— Вы женат, — возразила она, притрогиваясь к его кольцу.

— Да, но, понимаешь, я не живу с женой, она нездорова, не может исполнять супружеских обязанностей.

— Бедная! Если бы она узнала, куда ты, папашка, ходишь, она бы, наверно, плакала.

— Оставим это. Так знаешь, Мари, я себе все время ищу вот такую девочку, как ты, такую скромную и хорошенечкую. Я человек состоятельный, я бы тебе нашел квартиру со столом, с отоплением, с освещением. И на булавки сорок рублей в месяц. Ты бы пошла?

— Отчего не пойти, пошла бы.

Он поцеловал ее взасос, но тайное опасение быстро проскользнуло в его трусливом сердце.

— А ты здорова? — спросил он враждебным, вздрагивающим голосом.

— Ну да, здорова. У нас каждую субботу докторский осмотр.

Через пять минут она ушла от него, пряча на ходу в чулок заработанные деньги, на которые, как на первый почин, она предварительно поплевала, по суеверному обычаю. Ни о содержании, ни о симпатичности не было больше речи. Немец остался недоволен холодностью Маньки и велел позвать к себе экономку.

— Экономочка, вас мой муж к себе требует! — сказала Маня, войдя в залу и поправляя волосы перед зеркалом.

Зоя ушла, потом вернулась и вызвала в коридор Пашу. Потом вернулась в залу уже одна.

— Ты что это, Манька Маленькая, не угодила своему кавалеру? — спросила она со смехом. — Жалуется на тебя: «Это, говорит, не женщина, а бревно какое-то деревянное, кусок лёду». Я ему Пашку послала.

— Э, противный какой! — сморщилась Манька и отплюнулась. — Лезет с разговорами. Спрашивает: ты чувствуешь, когда я тебя целую? Чувствуешь приятное волнение? Старый пес. На содержание, говорит, возьму.

— Все они это говорят, — заметила равнодушно Зоя.

Но Женя, которая с утра была в злом настроении, вдруг вспыхнула.

— Ах он, хам этакий, хамло несчастное! — воскликнула она, покраснев и энергично упершись руками в бока. — Да я бы взяла его, поганца старого, за ухо, да подвела бы к зеркалу и показала бы ему его гнусную морду. Что? Хорош? А как ты еще будешь лучше, когда у тебя слюни изо рта потекут, и глаза перекосишь, и начнешь ты захлебываться и хрить, и сопеть прямо женщине в лицо. И ты хочешь за свой проклятый рубль, чтобы я перед тобой в лепешку растрепалась и чтобы от твоей мерзкой любви у меня глаза на лоб полезли? Да по морде бы его, подлеца, по морде! До крови!

— О, Женя! Перестань же! Пфуй! — остановила ее возмущенная ее грубым тоном щепетильная Эмма Эдуардовна.

— Не перестану! — резко оборвала она. Но сама замолчала и гневно отошла прочь с раздувающимися ноздрями и с огнем в потемневших красивых глазах.

VII

Зал понемногу наполнялся. Пришел давно знакомый всей Яме Ванька-Встанька — высокий, худой, красноносый седой старик, в форме лесного кондуктора, в высоких сапогах, с деревянным аршином, всегда торчащим из бокового кармана. Целые дни и вечера проводил он завсегдатаем в бильярдной при трактире, вечно вполпьяна, рассыпая свои шуточки, рифмы и приговорочки, фамильярничая со швейцаром, с экономками и девушками. В домах к нему относились все — от хозяйки до горничных — с небрежной, немного презрительной, но без злобы, насмешечкой. Иногда он бывал и не без пользы: передавал записочки от девиц их любовникам, мог сбегать на рынок или в аптеку. Нередко, благодаря своему развязно привешенному языку и давно угасшему самолюбию, втирался в чужую компанию и увеличивал ее расходы, а деньги, взятые при этом взаймы, он не уносил на сторону, а тут же тратил на женщин — разве-разве оставляя себе мелочь на папиросы. И его добродушно, по привычке, терпели.

— Вот и Ванька-Встанька пришел, — доложила Ниора, когда он, уже успев поздороваться дружески за ручку со швейцаром Симеоном, остановился в дверях залы, длинный, в форменной фуражке, лихо сбитой набекрень. — Ну-ка, Ванька-Встанька, валяй!

— Имею честь представиться, — тотчас же закривлялся Ванька-Встанька, по-военному прикладывая руку к козырьку, — тайный почетный посетитель местных благоугодных заведений, князь Бутылкин, граф Наливкин, барон Трутиневич-Фютинковский. Господину Бетховену! Господину Шопену! — поздоровался он с музыкантами. — Сыграйте мне что-нибудь из оперы «Храбрый и славный генерал Анисимов, или Суматоха в колидоре». Политической экономочке Зосе мое почтение. А-га! Только на пасху целуетесь? Запишем-с. У-ти, моя Тамалочка, мусисюпинская ти моя!

Так, с шутками и со щипками, он обошел всех девиц и, наконец, уселся рядом с толстой Катей, которая положила ему на ногу свою толстую ногу, оперлась о свое колено локтем, а на ладонь положила подбородок и равнодушно и пристально стала смотреть, как землемер крутил себе папирису.

— И как тебе не надоест, Ванька-Встанька? Всегда ты вертишь свою козью ногу.

Ванька-Встанька сейчас же задвигал бровями и кожей черепа и заговорил стихами:

Папириска, друг мой тайный,
Как тебя мне не любить?
Не по прихоти случайной
Стали все тебя курить.

— Ванька-Встанька, а ведь ты скоро подохнешь, — сказала равнодушно Катька.

– И очень просто.

– Ванька-Встанька, скажи еще что-нибудь посмешнее стихами, – просила Верка.

И он сейчас же послушно, встав в смешную позу, начал декламировать:

Много звезд на небе ясном,
Но их счастье никак нельзя,
Ветер шепчет, будто можно,
А совсем никак нельзя.
Расцветают лопухи,
Поют птицы петухи.

Балагуря таким образом, Ванька-Встанька просиживал в залах заведения целые вечера и ночи. И по какому-то странному душевному сочувствию девицы считали его почти своим; иногда оказывали ему маленькие временные услуги и даже покупали ему на свой счет пиво и водку.

Через некоторое время после Ваньки-Встаньки ввалилась большая компания парикмахеров, которые в этот день были свободны от работ. Они были шумны, веселы, но даже и здесь, в публичном доме, не прекращали своих мелочных счетов и разговоров об открытых и закрытых бенефисах, о хозяевах, о женах хозяев. Все это были люди в достаточной степени развращенные, лгуньи, с большими надеждами на будущее, вроде, например, поступления на содержание к какой-нибудь графине. Они хотели как можно шире использовать свой довольно тяжелый заработка и потому решили сделать ревизию положительно во всех домах Ямы, только к Треппелю не решились зайти, так как там было слишком для них шикарно. Но у Анны Марковны они сейчас же заказали себе кадриль и плясали ее, особенно пятую фигуру, где кавалеры выделяют соло, совершенно как настоящие парижане, даже заложив большие пальцы в проймы жилетов. Но остаться с девицами они не захотели, а обещали прийти потом, когда закончат всю ревизию публичных домов.

И еще приходили и уходили какие-то чиновники, курчавые молодые люди в лакированных сапогах, несколько студентов, несколько офицеров, которые страшно боялись уронить свое достоинство в глазах владетельницы и гостей публичного дома. Понемногу в зале создалась такая шумная, чадная обстановка, что никто уже там не чувствовал неловкости. Пришел постоянный гость, любовник Соньки Руль, который приходил почти ежедневно и целыми часами сидел около своей возлюбленной, глядел на нее томными восточными глазами, вздыхал, млев и делал ей сцены за то, что она живет в публичном доме, что грешит против субботы, что ест трефное мясо и что отбилась от семьи и великой еврейской церкви.

По обыкновению, – а это часто случалось, – экономка Зоя подходила к нему под шумок и говорила, кривя губы:

– Ну, что вы так сидите, господин? Зад себе греете? Шли бы заниматься с девочкой.

Оба они, еврей и еврейка, были родом из Гомеля и, должно быть, были созданы самим богом для нежной, страстной, взаимной любви, но многие обстоятельства, как, например, погром, произшедший в их городе, обеднение, полная растерянность, испуг, на время разлучили их. Однако любовь была настолько велика, что аптекарский ученик Нейман с большим трудом, усилиями и унижениями сумел найти себе место ученика в одной из местных аптек и разыскал любимую девушку. Он был настоящим правоверным, почти фанатическим евреем. Он знал, что Сонька была продана одному из скрупульных живого товара ее же матерью, знал много унизительных, безобразных подробностей о том, как ее перепродают из рук в руки, и его набожная, брезгливая, истинно еврейская душа корчилась и содрогалась при этих мыслях, но тем не менее любовь была выше всего. И каждый вечер он появлялся в зале Анны Марковны. Если ему удавалось с громадным лишением вырезать из своего нищенского дохода

какой-нибудь случайный рубль, он брал Соньку в ее комнату, но это вовсе не бывало радостью ни для него, ни для нее: после мгновенного счастья – физического обладания друг другом – они плакали, укоряли друг друга, ссорились с характерными еврейскими театральными жестами, и всегда после этих визитов Сонька Руль возвращалась в залу с набрякшими, покрасневшими веками глаз.

Но чаще всего у него не было денег, и он просиживал около своей любовницы целыми вечерами, терпеливо и ревниво дожинаясь ее, когда Соньку случайно брал гость. И когда она возвращалась обратно и садилась с ним рядом, то он незаметно, стараясь не обращать на себя общего внимания и не поворачивая головы в ее сторону, все время осыпал ее упреками. И в ее прекрасных, влажных, еврейских глазах всегда во время этих разговоров было мученическое, но краткое выражение.

Приехала большая компания немцев, служащих в оптическом магазине, приехала партия приказчиков из рыбного и гастрономического магазина Керешковского, приехали двое очень известных на Ямках молодых людей, – оба лысые, с редкими, мягкими, нежными волосами вокруг лысин – Колька-бухгалтер и Мишка-певец, так называли в домах их обоих. Их так же, как Карла Карловича из оптического магазина и Володьку из рыбного, встречали очень радушно, с восторгами, криками и поцелуями, листя их самолюбию. Шустрая Нюрка высказывала в переднюю и, осведомившись, кто пришел, докладывала возбужденно, по своему обыкновению:

– Женька, твой муж пришел!

Или:

– Манька Маленькая, твой любовник пришел!

И Мишка-певец, который вовсе не был певцом, а владельцем аптекарского склада, сейчас же, как вошел, запел вибрирующим, пресекающимся, козлиным голосом:

Чу-у-уют пра-а-а-а-авду!

Ты ж, заря-я-я-я... —

что он проделывал в каждое свое посещение Анны Марковны.

Почти беспрерывно играли кадриль, вальс, польку и танцевали. Приехал и Сенька – любовник Тамары – но, против обыкновения, он не важничал, «не разорялся», не заказывал Исаю Саввичу траурного марша и не угожал шоколадом девиц... Почему-то он был сумрачен, хромал на правую ногу и старался как можно меньше обращать на себя внимание: должно быть, его профессиональные дела находились в это время в плохом обороте. Он одним движением головы, на ходу, вызвал Тамару из зала и исчез с ней в ее комнате. Приехал также и актер Эгмонт-Лаврецкий, бритый, высокий, похожий на придворного лакея своим вульгарным и нагло-презрительным лицом.

Приказчики из гастрономического магазина танцевали со всем усердием молодости и со всей чинностью, которую рекомендует самоучитель хороших нравов Германа Гоппе². В этом смысле и девицы отвечали их намерениям. У тех и у других считалось особенно приличным и светским танцевать как можно неподвижнее, держа руки опущенными вниз и головы поднятыми вверх и склоненными, с некоторым гордым и в то же время утомленным и расслабленным видом. В антрактах, между фигурами, нужно было со скучающим и небрежным видом обматывать платками... Словом, все они делали вид, будто принадлежат к самому изысканному обществу, и если танцуют, то делают это, только снисходя до маленькой товарищеской услуги. Но все-таки танцевали так усердно, что с приказчиков Керешковского пот катился ручьями.

² Гоппе Герман (1836–1885) – издатель дамских журналов «Мода и новости», «Модный свет», «Модный магазин», в которых печатались правила хорошего тона.

Случилось уже два-три скандала в разных домах. Какой-то человек, весь окровавленный, у которого лицо, при бледном свете лунного серпа, казалось от крови черным, бегал по улице, ругался и, нисколько не обращая внимания на свои раны, искал шапку, потерянную в драке. На Малой Ямской подрались штабные писаря с матрёсской командой. Усталые таперы и музыканты играли как в бреду, сквозь сон, по механической привычке. Это было на исходе ночи.

Совершенно неожиданно в заведение Анны Марковны вошло семеро студентов, приват-доцент и местный репортер.

VIII

Все они, кроме репортера, провели целый день, с самого утра, вместе,правляя маевку со знакомыми барышнями. Катались на лодках по Днепру, варили на той стороне реки, в густом горько-пахучем лозняке, полевую кашу, купались – мужчины и женщины поочередно – в быстрой теплой воде, пили домашнюю запеканку, пели звучные малороссийские песни и вернувшись в город только поздним вечером, когда темная, бегущая широкая река так жутко и весело плескалась о борта их лодок, играя отражениями звезд, серебряными зыбкими дорожками от электрических фонарей и кланяющимися огнями баканов. И когда вышли на берег, то у каждого горели ладони от весел, приятно ныли мускулы рук и ног, и во всем теле была блаженная бодрая усталость.

Потом они проводили барышень по домам и у калиток и подъездов прощались с ними долго и сердечно со смехом и такими размашистыми рукопожатиями, как будто бы действовали рычагом насоса.

Весь день прошел весело и шумно, даже немного крикливо и чуть-чуть утомительно, но по-юношески целомудренно, не пьяно и, что особенно редко случается, без малейшей тени взаимных обид, или ревности, или невысказанных огорчений. Конечно, такому благодушному настроению помогало солнце, свежий речной ветерок, сладкие дыхания трав и воды, радостное ощущение крепости и ловкости собственного тела при купании и гребле и сдерживающее влияние умных, ласковых, чистых и красивых девушек из знакомых семейств.

Но, почти помимо их сознания, их чувственность – не воображение, а простая, здоровая, инстинктивная чувственность молодых игривых самцов – зажигалась от нечаянных встреч их рук с женскими руками и от товарищеских услугливых объятий, когда приходилось помочь барышням входить в лодку или высакивать на берег, от нежного запаха девичьих одежд, разогретых солнцем, от женских кокетливо-испуганных криков на реке, от зрелища женских фигур, небрежно полулежащих с наивной нескромностью в зеленой траве, вокруг самовара, от всех этих невинных вольностей, которые так обычны и неизбежны на пикниках, загородных прогулках и речных катаниях, когда в человеке, в бесконечной глубине его души, тайно пробуждается от беспечного соприкосновения с землей, травами, водой и солнцем древний, прекрасный, свободный, но обезображеный и напуганный людьми зверь.

И потому в два часа ночи, едва только закрылся уютный студенческий ресторан «Воробы» и все восьмеро, возбужденные алкоголем и обильной пищей, вышли из прокуренного, чадного подземелья наверх, на улицу, в сладостную, тревожную темноту ночи, с ее манящими огнями на небе и на земле, с ее теплым, хмельным воздухом, от которого жадно расширяются ноздри, с ее ароматами, скользившими из невидимых садов и цветников, то у каждого из них пылала голова и сердце тихо и томно таяло от неясных желаний. Весело и гордо было ощущать после отдыха новую, свежую силу во всех мышцах, глубокое дыхание легких, красную упругую кровь в жилах, гибкую послушность всех членов. И – без слов, без мыслей, без сознания – влекло в эту ночь бежать без одежд по солнному лесу, обнюхивать торопливо следы чьих-то ног в росистой траве, громким кличем призывать к себе самку.

Но расстаться было теперь очень трудно. Целый день, проведенный вместе, сбил всех в привычное, цепкое стадо. Казалось, что если хоть один уйдет из компании, то нарушится какое-то наладившееся равновесие, которое потом невозможно будет восстановить. И потому они медлили и топтались на тротуаре, около выхода из трактирного подземелья, мешая движению редких прохожих. Обсуждали лицемерно, куда бы еще поехать, чтобы доконать ночь. В сад «Тиволи» оказывалось очень далеко, да к тому же еще за входные билеты платить, и цены в буфете возмутительные, и программа давно окончилась. Володя Павлов предлагал ехать к нему: у него есть дома дюжина пива и немного коньяку. Но всем показалось скучным идти среди ночи на семейную квартиру, входить на цыпочках по лестнице и говорить все время шепотом.

— Вот что, брательники… Поедемте-ка лучше к девочкам, это будет вернее, — сказал решительно старый студент Лихонин, высокий, сутуловатый, хмурый и бородатый малый. По убеждениям он был анархист-теоретик, а по призванию — страстный игрок на бильярде, на бегах и в карты, — игрок с очень широким, фатальным размахом. Только накануне он выиграл в купеческом клубе около тысячи рублей в макао³, и эти деньги еще жгли ему руки.

— А что ж? И верно, — поддержал кто-то. — Айда, товарищи!?

— Стоит ли? Ведь это на всю ночь заводиловка… — с фальшивым благородствием и неискренней усталостью отозвался другой.

А третий сказал сквозь притворный зевок:

— Поедемте лучше, господа, по домам… а-а-а… спатиньки… Довольно на сегодня.

— Во сне шубы не сосьешь, — презрительно заметил Лихонин. — Герр профессор, вы едете?

Но приват-доцент Ярченко уперся и казался по-настоящему рассерженным, хотя, быть может, он и сам не знал, что пряталось у него в каком-нибудь темном закоулке души.

— Оставь меня в покое, Лихонин. По-моему, господа, это прямое и явное свинство — то, что вы собираетесь сделать. Кажется, так чудесно, мило и просто провели время, — так нет, вам непременно надо, как пьяным скотам, полезть в помойную яму. Не поеду я.

— Однако, если мне не изменяет память, — со спокойной язвительностью сказал Лихонин, — припоминаю, что не далее как прошлой осенью мы с одним будущим Момм-сеном⁴ или где-то крюшон со льдом в фортепиано, изображали бурятского бога, плясали танец живота и все такое прочее?..

Лихонин говорил правду. В свои студенческие годы и позднее, будучи оставленным при университете, Ярченко вел самую шалую и легкомысленную жизнь. Во всех трактирах, кафе-шантанах и других увеселительных местах хорошо знали его маленькую, толстую, кругленькую фигурку, его румяные, отдувшиеся, как у раскрашенного амура, щеки и блестящие, влажные, добрые глаза, помнили его торопливый, захлебывающийся говор и визгливый смех.

Товарищи никогда не могли постигнуть, где он находил время для занятий наукой, но тем не менее все экзамены и очередные работы он сдавал отлично и с первого курса был на виду у профессоров. Теперь Ярченко начинал понемногу отходить от прежних товарищей и собутыльников. У него только что завелись необходимые связи с профессорским кругом, на будущий год ему предлагали чтение лекций по римской истории, и нередко в разговоре он уже употреблял ходкое среди приват-доцентов выражение: «Мы, ученые!» Студенческая фамильярность, принудительное компанейство, обязательное участие во всех сходках, протестах и демонстрациях становились для него невыгодными, затруднительными и даже просто скучными. Но он знал цену популярности среди молодежи и потому не решался круто разорвать с прежним кружком. Слова Лихонина, однако, задели его.

³ Макао — азартная карточная игра, которая в России была запрещена законом.

⁴ Моммзен Теодор (1817–1903) — немецкий историк, специалист по Древнему Риму

— Ах, боже мой, мало ли что мы делали, когда были мальчишками? Воровали сахар, пачкали штанишки, отрывали жукам крылья, — заговорил Ярченко, горячясь и захлебываясь. — Но всему есть предел и мера. Я вам, господа, не смею, конечно, подавать советов и учить вас, но надо быть последовательными. Все мы согласны, что проституция — одно из величайших бедствий человечества, а также согласны, что в этом зле виноваты не женщины, а мы, мужчины, потому что спрос рождает предложение. И стало быть, если, выпив лишнюю рюмку вина, я все-таки, несмотря на свои убеждения, еду к проституткам, то я совершаю тройную подлость: перед несчастной глупой женщиной, которую я подвергаю за свой поганый рубль самой униизительной форме рабства, перед человечеством, потому что, нанимая на час или на два публичную женщину для своей скверной похоти, я этим оправдываю и поддерживаю проституцию, и, наконец, это — подлость перед своей собственной совестью и мыслью. И перед логикой.

— Фью-ю! — свистнул протяжно Лихонин и проскандировал унылым тоном, кивая в такт опущенной набок головой. — Понес философ наш обычный вздор: веревка — вервие простое.

— Конечно, нет ничего легче, как паясничать, — сухо отозвался Ярченко. — А по-моему, нет в печальной русской жизни более печального явления, чем эта расхлябанность и растленность мысли. Сегодня мы скажем себе: «Э! Все равно, поеду я в публичный дом или не поеду — от одного раза дело не ухудшится, не улучшится». А через пять лет мы будем говорить: «Несомненно, взятка — страшная гадость, но, знаете, дети... семья...» И точно так же через десять лет мы, оставшись благополучными русскими либералами, будем вздыхать о свободе личности и кланяться в пояс мерзякам, которых презираем, и околачиваться у них в передних. «Потому что, знаете ли, — скажем мы, хихикая, — с волками жить, по-волчьи выть». Ей-богу, недаром какой-то министр назвал русских студентов будущими столоначальниками!

— Или профессорами, — вставил Лихонин.

— Но самое главное, — продолжал Ярченко, пропустив мимо ушей эту шпильку, — самое главное то, что я вас всех видел сегодня на реке и потом там... на том берегу... с этими милыми, славными девушками. Какие вы все были внимательные, порядочные, услужливые, но едва только вы простились с ними, вас уже тянет к публичным женщинам. Пускай каждый из вас представит себе на минутку, что все мы были в гостях у его сестер и прямо от них поехали в Яму... Что? Приятно такое предположение?

— Да, но должны же существовать какие-нибудь клапаны для общественных страстей? — важно заметил Борис Собашников, высокий, немного надменный и манерный молодой человек, которому короткий китель, едва прикрывавший толстый зад, модные, кавалерийского фасона брюки, пенсне на широкой черной ленте и фуражка прусского образца придавали фаталистический вид. — Неужели порядочнее пользоваться ласками своей горничной или вести за углом интригу с чужой женой? Что я могу поделать, если мне необходима женщина!

— Эх, очень обходима! — досадливо сказал Ярченко и слабо махнул рукой.

Но тут вмешался студент, которого в товарищеском кружке звали Рамзесом. Это был изжелта-смуглый горбоносый человек маленького роста; бритое лицо его казалось треугольным благодаря широкому, начинавшему лысеть двумя взлысинами лбу, впалым щекам и острому подбородку. Он вел довольно странный для студента образ жизни. В то время, когда его коллеги занимались вперемежку политикой, любовью, театром и немножко наукой, Рамзес весь ушел в изучение всевозможных гражданских исков и претензий, в крючкотворные тонкости имущественных, семейных, земельных и иных деловых процессов, в запоминание и логический разбор кассационных решений. Совершенно добровольно, ничуть не нуждаясь в деньгах, он прослужил один год клерком у нотариуса, другой — письмоводителем у мирового судьи, а весь прошлый год, будучи на последнем курсе, вел в местной газете хронику городской управы и нес скромную обязанность помощника секретаря в управлении синдиката сахарозаводчиков. И когда этот самый синдикат затеял известный процесс против одного из своих членов, полковника Баскакова, пустившего в продажу против договора избыток сахара, то Рам-

зес в самом начале предугадал и очень тонко мотивировал именно то решение, которое вынес впоследствии по этому делу сенат.

Несмотря на его сравнительную молодость, к его мнениям прислушивались, – правда, немного свысока, – довольно известные юристы. Никто из близко знавших Рамзеса не сомневался, что он сделает блестящую карьеру, да и сам Рамзес вовсе не скрывал своей уверенности в том, что к тридцати пяти годам он сколотит себе миллион исключительно одной практикой, как адвокат-цивилист. Его нередко выбирали товарищи в председатели сходок и в курсовые старосты, но от этой чести Рамзес неизменно уклонялся, отговариваясь недостатком времени. Однако он не избегал участия в товарищеских третейских судах, и его доводы – всегда неотразимо логичные – обладали удивительным свойством оканчивать дела миром, к обоюдному удовольствию судящихся сторон. Он так же, как и Ярченко, знал хорошо цену популярности среди учащейся молодежи, и если даже поглядывал на людей с некоторым презрением, свысока, то никогда, ни одним движением своих тонких, умных, энергичных губ этого не показывал.

– Никто вас и не тянет, Гаврила Петрович, непременно совершать грехопадение, – сказал Рамзес примирительно. – К чему этот пафос и эта меланхolia, когда дело обстоит совсем просто? Компания молодых русских джентльменов хочет скромно и дружно провести остаток ночи, повеселиться, попеть и принять внутрь несколько галлонов вина и пива. Но все теперь закрыто, кроме этих самых домов. Ergo!..⁵

– Следовательно, поедем веселиться к продажным женщинам? К проституткам? В публичный дом? – насмешливо и враждебно перебил его Ярченко.

– А хотя бы? Одного философа, желая его унизить, посадили за обедом куда-то около музыкантов. А он, сядясь, сказал: «Вот верное средство сделать последнее место первым». И наконец, я повторяю: если ваша совесть не позволяет вам, как вы выражаетесь, покупать женщину, то вы можете приехать туда и уехать, сохраняя свою невинность во всей ее цветущей неприкосновенности.

– Вы передергиваете, Рамзес, – возразил с неудовольствием Ярченко. – Вы мне напоминаете тех мещан, которые еще затемно собирались глазеть на смертную казнь и говорят: мы здесь ни при чем, мы против смертной казни, это все прокурор и палаch.

– Пышно сказано и отчасти верно, Гаврила Петрович. Но именно к нам это сравнение может и не относиться. Нельзя, видите ли, лечить какую-нибудь тяжкую болезнь заочно, не видавши самого больного. А ведь все мы, которые сейчас здесь стоим на улице и мешаем прохожим, должны будем когда-нибудь в своей деятельности столкнуться с ужасным вопросом о проституции, да еще какой проституции – русской! Лихонин, я, Боря Собашников и Павлов – как юристы, Петровский и Толпигин – как медики. Правда, у Вельтмана особенная специальность – математика. Но ведь будет же он педагогом, руководителем юношества и, черт побери, даже отцом! А уж если пугать букой, то лучше всего самому на нее прежде посмотреть. Наконец, и вы сами, Гаврила Петрович, – знаток мертвых языков и будущее светило гробокопательства, – разве для вас не важно и не поучительно сравнение хотя бы современных публичных домов с какими-нибудь помпейскими лупанарами или с институтом священной проституции в Фивах и в Ниневии?..

– Браво, Рамзес, великолепно! – взревел Лихонин. – И что тут долго толковать, ребята? Берите профессора под жабры и сажайте на извозчика!

Студенты, смеясь и толкаясь, обступили Ярченко, схватили его под руки, обхватили за талию. Всех их одинаково тянуло к женщинам, но ни у кого, кроме Лихонина, не хватало смелости взять на себя почин. Но теперь все это сложное, неприятное и лицемерное дело счастливо свело к простой, легкой шутке над старшим товарищем. Ярченко и упирался, и сердился, и

⁵ Следовательно!., (лат.)

смеялся, стараясь вырваться. Но в это время к возившимся студентам подошел рослый черноусый городовой, который уже давно глядел на них зорко и неприязненно.

– Господа студенты, прошу не скопляться. Невозможно! Проходите, куда и шли.

Они двинулись гурьбою вперед. Ярченко начинал понемногу смягчаться.

– Господа, я, пожалуй, готов с вами поехать… Не подумайте, однако, что меня убедили софизмы египетского фараона Рамзеса… Нет, просто мне жаль разбивать компанию… Но я ставлю одно условие: мы там выпьем, поврем, посмеемся и все прочее… но чтобы ничего больше, никакой грязи… Стыдно и обидно думать, что мы, цвет и краса русской интеллигенции, раскиснем и пустим слюни от вида первой попавшейся юбки.

– Клянусь! – сказал Лихонин, поднимая вверх руку

– Я за себя ручаюсь, – сказал Рамзес.

– И я! И я! Ей-богу, господа, дадимте слово… Ярченко прав, – подхватили другие.

Они расселись по двое и по трое на извозчиков, которые уже давно, зубоскаля и переругиваясь, вереницей следовали за ними, и поехали. Лихонин для верности сам сел рядом с приват-доцентом, обняв его за талию, а на колени к себе и соседу посадил маленького Толпигина, розового миловидного мальчика, у которого, несмотря на его двадцать три года, еще белел на щеках детский – мягкий и светлый – пух.

– Станция у Дорошенки! – крикнул Лихонин вслед отъезжавшим извозчикам. – У Дорошенки остановка, – повторил он, обернувшись назад.

У ресторана Дорошенки все остановились, вошли в общую залу и столпились около стойки. Все были сыты, и никому не хотелось ни пить, ни закусывать. Но у каждого оставался еще в душе темный след сознания, что вот сейчас они собираются сделать нечто ненужнопозорное, собираются принять участие в каком-то судорожном, искусственном и вовсе не веселом веселье. И у каждого было стремление довести себя через опьянение до того туманного и радужного состояния, когда всё – всё равно и когда голова не знает, что делают руки и ноги и что болтает язык. И должно быть, не одни студенты, а все случайные и постоянные посетители Ямы испытывали в большей или меньшей степени трение этой внутренней душевной занозы, потому что Дорошенко торговал исключительно только поздним вечером и ночью, и никто у него не засиживался, а так только заезжали мимоходом, на перепутье.

Пока студенты пили коньяк, пиво и водку, Рамзес все приглядывался к самому дальнему углу ресторана зала, где сидели двое: лохматый, седой крупный старик и против него, спиной к стойке, раздвинув по столу локти и опершись подбородком на сложенные друг на друга кулаки, сгорбился какой-то плотный, низко остриженный господин в сером костюме. Старик перебирал струны лежавших перед ним гуслей и тихо напевал сиплым, но приятным голосом:

Долина моя, долинушка,
Раздолье широ-о-о-окое.

– Позвольте-ка, ведь это наш сотрудник, – сказал Рамзес и пошел здороваться с господином в сером костюме. Через минуту он подвел его к стойке и познакомил с товарищами.

– Господа, позвольте вам представить моего соратника по газетному делу. Сергей Иванович Платонов. Самый ленивый и самый талантливый из газетных работников.

Все перезнакомились с ним, невнятно пробурчав свои фамилии.

– И поэтому выпьем, – сказал Лихонин.

Ярченко же спросил с утонченной любезностью, которая никогда его не покидала:

– Позвольте, позвольте, ведь я же с вами немного знаком, хотя и заочно. Не вы ли были в университете, когда профессор Приклонский защищал докторскую диссертацию?

– Я, – ответил репортер.

— Ах, это очень приятно, — мило улыбнулся Ярченко и для чего-то еще раз крепко пожал Платонову руку. — Я читал потом ваш отчет: очень точно, обстоятельно и ловко составлено... Не будете ли добры?.. За ваше здоровье!

— Тогда позвольте и мне, — сказал Платонов. — Онуфрий Захарыч, налейте нам еще... раз, два, три, четыре... девять рюмок коньяку...

— Нет, уж так нельзя... вы — наш гость, коллега, — возразил Лихонин.

— Ну, какой же я ваш коллега, — добродушно засмеялся репортер. — Я был только на первом курсе и то только полгода, вольнослушателем. Получите, Онуфрий Захарыч. Господа, прошу...

Кончилось тем, что через полчаса Лихонин и Ярченко ни за что не хотели расстаться с репортером и потащили его с собой в Яму. Впрочем, он и не сопротивлялся.

— Если я вам не в тягость, я буду очень рад, — сказал он просто. — Тем более что у меня сегодня сумасшедшие деньги. «Днепровское слово» заплатило мне гонорар, а это такое же чудо, как выиграть двести тысяч на билет от театральной вешалки. Виноват, я сейчас...

Он подошел к старику, с которым раньше сидел, сунул ему в руку какие-то деньги и ласково попрощался с ним.

— Куда я еду, дедушка, туда тебе ехать нельзя, завтра опять там же встретимся, где и сегодня. Прощай!

Все вышли из ресторана. В дверях Боря Собашников, всегда немного фатоватый и без нужды высокомерный, остановил Лихонина и отозвал его в сторону.

— Удивляюсь я тебе, Лихонин, — сказал он брезгливо. — Мы собирались своей тесной компанией, а тебе непременно нужно было затащить какого-то бродягу. Черт его знает, кто он такой!

— Оставь, Боря, — дружелюбно ответил Лихонин. — Он парень теплый.

IX

— Ну, уж это, господа, свинство! — говорил ворчливо Ярченко на подъезде заведения Анны Марковны. — Если уж поехали, то, по крайности, надо было ехать в приличный, а не в какую-то трущобу. Право, господа, пойдемте лучше рядом, к Треппелю, там хоть чисто и светло.

— Пожалуйте, пожалуйте, синьор, — настаивал Лихонин, отворяя с придворной учтивостью дверь перед приват-доцентом, кланяясь и простирая вперед руку. — Пожалуйте.

— Да ведь мерзость... У Треппеля хоть женщины покрасивее.

Рамзес, шедший сзади, сухо рассмеялся.

— Так, так, так, Гаврила Петрович. Будем продолжать в том же духе. Осудим голодного воришку, который украл с лотка пятаковую булку, но если директор банка растратил чужой миллион на рыбаков и сигары, то смягчим его участь.

— Простите, не понимаю этого сравнения, — сдержанно ответил Ярченко. — Да по мне все равно; идемте.

— И тем более, — сказал Лихонин, пропуская вперед приват-доцента, — тем более что этот дом хранит в себе столько исторических преданий. Товарищи! Десятки студенческих поколений смотрят на нас с высоты этих вешалок, и, кроме того, в силу обычного права, дети и учащиеся здесь платят половину, как в паноптикуме. Не так ли, гражданин Симеон?

Симеон не любил, когда приходили большими компаниями, — это всегда пахло скандалом в недалеком будущем; студентов же он вообще презирал за их мало понятный ему язык, за склонность к легкомысленным шуткам, за безбожие и, главное, — за то, что они постоянно бунтуют против начальства и порядка. Недаром же в тот день, когда на Бессарабской площади казаки, мясоторговцы, мучники и рыбники избивали студентов, Симеон, едва узнав об этом,

вскочил на проезжавшего лихача и, стоя, точно полицеймейстер, в пролетке, помчался на место драки, чтобы принять в ней участие. Уважал он людей солидных, толстых и пожилых, которые приходили в одиночку, по секрету, заглядывали опасливо из передней в залу, боясь встретиться со знакомыми, и очень скоро и торопливо уходили, щедро давая на чай. Таких он всегда величал «ваше превосходительство».

И потому, снимая легкое серое пальто с Ярченко, он мрачно и многозначительно огрызнулся на шутку Лихонина:

— Я здесь не гражданин, а вышибала.

— С чем имею честь поздравить, — с вежливым поклоном ответил Лихонин.

В зале было много народа. Оттанцевавшие приказчики сидели около своих дам, красные и мокрые, быстро обмахиваясь платками; от них крепко пахло старой козлиной шерстью. Мишка-певец и его друг бухгалтер, оба лысые, с мягкими, пушистыми волосами вокруг обнаженных черепов, оба с мутными, перламутровыми, пьяными глазами, сидели друг против друга, облокотившись на мраморный столик, и все покушались запеть в унисон такими дрожащими и скучающими голосами, как будто бы кто-то часточасто колотил их сзади по шейным позвонкам:

Чу-у-уют пра-а-в-ду,

а Эмма Эдуардовна и Зоя изо всех сил уговаривали их не безобразничать. Ванька-Встанька мирно дремал на стуле, свесив вниз голову, положив одну длинную ногу на другую и обхватив сцепленными руками острое колено.

Девицы сейчас же узнали некоторых из студентов и побежали им навстречу.

— Тамарочка, твой муж пришел — Володенька. И мой муж тоже! Мишка! — взвизгнула Нюра, вешаясь на шею длинному, носастому, серьезному Петровскому. — Здравствуй, Мишенька. Что так долго не приходил? Я за тобой соскучилась.

Ярченко с чувством неловкости озирался по сторонам.

— Нам бы как-нибудь... Знаете ли... отдельный кабинетик, — деликатно сказал он подошедшей Эмме Эдуардовне. — И дайте, пожалуйста, какого-нибудь красного вина... Ну там еще кофе... Вы сами знаете.

Ярченко всегда внушал прислуге и метрдотелям доверие своей щегольской одеждой и вежливым, но барским обхождением. Эмма Эдуардовна охотно закивала головой, точно старая, жирная цирковая лошадь.

— Можно, можно... Пройдите, господа, сюда, в гостиную. Можно, можно... Какого ликера? У нас только бенедиктин. Так бенедиктину? Можно, можно... И барышням позволите войти?

— Если уж это так необходимо? — развел руками со вздохом Ярченко.

И тотчас же девушки одна за другой потянулись в маленькую гостиную с серой плюшевой мебелью и голубым фонарем. Они входили, протягивали всем поочередно непривычные к рукопожатиям, негнущиеся ладони, называли коротко, вполголоса, свое имя: Маня, Катя, Люба... Садились к кому-нибудь на колени, обнимали за шею и, по обыкновению, начинали клянчить:

— Студентик, вы такой красивенький... Можно мне спросить апельцинов?

— Володенька, купи мне конфет! Хорошо?

— А мне шоколаду.

— Толстенький! — ластилась одетая жокеем Вера к приват-доценту, карабкаясь к нему на колени, — у меня есть подруга одна, только она больная и не может выходить в залу. Я ей снесу яблок и шоколаду? Позволяешь?

– Ну уж это выдумки про подругу! А главное, не лезь ты ко мне со своими нежностями. Сиди, как сидят умные дети, вот здесь, рядышком на кресле, вот так. И ручки сложи!

– Ах, когда я не могу!.. – извивалась от кокетства Вера, закатывая глаза под верхние веки. – Когда вы такие симпатичные.

А Лихонин на это профессиональное попрошайничество только важно и добродушно кивал головой, точно Эмма Эдуардовна, и твердил, подражая ее немецкому акценту:

– Мощно, мощно, мощно…

– Так я скажу, дуся, лакею, чтобы он отнес моей подруге сладкого и яблок? – приставала Вера.

Такая навязчивость входила в круг их негласных обязанностей. Между девушками существовало даже какое-то вздорное, детское, странное соревнование в умении «высадить гостя из денег», – странное потому, что они не получали от этого никакого барыша, кроме разве некоторого благоволения экономки или одобрительного слова хозяйки. Но в их мелочной, однобразной, привычно-праздной жизни было вообще много полуребяческой, полуистерической игры.

Симеон принес кофейник, чашки, приземистую бутылку бенедиктина, фрукты и конфеты в стеклянных вазах и весело и легко захлопал пивными и винными пробками.

– А вы что же не пьете? – обратился Ярченко к репортеру Платонову. – Позвольте… Я не ошибаюсь? Сергей Иванович, кажется?

– Так.

– Позвольте предложить вам, Сергей Иванович, чашку кофе. Это освежает. Или, может быть, выпьем с вами вот этого сомнительного лафита?

– Нет, уж вы разрешите мне отказаться. У меня свой напиток… Симеон, дайте мне…

– Коньяку! – поспешило крикнула Ниура.

– И с грушей! – так же быстро подхватила Манька Беленькая.

– Слушаю, Сергей Иванович, сейчас, – неторопливо, но почтительно отозвался Симеон и, нагнувшись и крякнув, звонко вырвал пробку из бутылочного горла.

– В первый раз слышу, что в Яме подают коньяк! – с удивлением произнес Лихонин. – Сколько я ни спрашивал, мне всегда отказывали.

– Может быть, Сергей Иваныч знает такое петушиное слово? – пошутил Рамзес.

– Или состоит здесь на каком-нибудь особом почетном положении? – колко, с подчеркиванием вставил Борис Собашников.

Репортер вяло, не поворачивая головы, покосился на Собашникова, на нижний ряд пуговиц его короткого франтовского кителя, и ответил с растяжкой:

– Ничего нет почетного в том, что я могу пить как лошадь и никогда не пьянею, но зато я ни с кем и не ссорюсь и никого не задираю. Очевидно, эти хорошие стороны моего характера здесь достаточно известны, а потому мне оказывают доверие.

– Ах, молодчинице! – радостно воскликнул Лихонин, которого восхищала в репортере какая-то особенная, ленивая, немногословная и в то же время самоуверенная небрежность. – Вы и со мной поделитесь коньяком?

– Очень, очень рад, – приветливо ответил Платонов и вдруг поглядел на Лихонина со светлой, почти детской улыбкой, которая скрасила его некрасивое, скуластое лицо. – Вы мне тоже сразу понравились. И когда я увидел вас еще там, у Дорошенки, я сейчас же подумал, что вы вовсе не такой шершавый, каким кажется.

– Ну вот и обменялись любезностями, – засмеялся Лихонин. – Но удивительно, что мы именно здесь ни разу с вами не встречались. По-видимому, вы таки частенько бываете у Анны Марковны?

– Даже весьма.

— Сергей Иваныч у нас самый главный гость! — наивно взвизгнула Нюра. — Сергей Иваныч у нас вроде брата!

— Дура! — остановила ее Тамара.

— Это мне странно, — продолжал Лихонин. — Я тоже завсегдатай. Во всяком случае, можно только позавидовать общей к вам симпатии.

— Местный староста! — сказал, скривив сверху вниз губы, Борис Собашников, но сказал настолько вполголоса, что Платонов, если бы захотел, мог бы притвориться, что он ничего не расслышал. Этот репортер давно уже возбуждал в Борисе какое-то слепое и колючее раздражение. Это еще ничего, что он был не из своего стада. Но Борис, подобно многим студентам (а также и офицерам, юнкерам и гимназистам), привык к тому, что посторонние «штатские» люди, попадавшие случайно в кутящую студенческую компанию, всегда держали себя в ней несколько зависимо и подобострастно, льстили учащейся молодежи, удивлялись ее смелости, смеялись ее шуткам, любовались ее самолюбованием, вспоминали со вздохом подавленной зависти свои студенческие годы. А в Платонове не только не было этого привычного виляния хвостом перед молодежью, но, наоборот, чувствовалось какое-то рассеянное, спокойное и вежливое равнодушие.

Кроме того, сердило Собашникова — и сердило мелкой ревнивой досадой — то простое и вместе предупредительное внимание, которое репортеру оказывали в заведении все, начиная со швейцара и кончая мясистой, молчаливой Катей. Это внимание сказывалось в том, как его слушали, в той торжественной бережности, с которой Тамара наливала ему рюмку, и в том, как Манька Беленькая заботливо чистила для него грушу, и в удовольствии Зои, поймавшей ловко брошенный ей репортером через стол портсигар, в то время как она напрасно просила папиросу у двух заговорившихся соседей, и в том, что ни одна из девиц не выпрашивала у него ни шоколаду, ни фруктов, и в их живой благодарности за его маленькие услуги и угождение. «Кот!» — злобно решил было про себя Собашников, но и сам себе не поверил: уж очень был некрасив и небрежно одет репортер и, кроме того, держал себя с большим достоинством.

Платонов опять сделал вид, что не расслышал дерзости, сказанной студентом. Он только нервно скомкал в пальцах салфетку и слегка отшвырнул ее от себя. И опять его веки дрогнули в сторону Бориса Собашникова.

— Да, я здесь, правда, свой человек, — спокойно продолжал он, медленными кругами двигая рюмку по столу. — Представьте себе: я в этом самом доме обедал изо дня в день ровно четыре месяца.

— Нет? Серьезно? — удивился и засмеялся Ярченко.

— Совсем серьезно. Тут очень недурно кормят, между прочим. Сытно и вкусно, хотя чересчур жирно.

— Но как же это вы?..

— А так, что я подготовлял дочку Анны Марковны, хозяйки этого гостеприимного дома, в гимназию. Ну и выговорил себе условие, чтобы часть месячной платы вычитали мне за обеды.

— Что за странная фантазия! — сказал Ярченко. — И это вы добровольно? Или... Простите, я боюсь показаться вам нескромным... может быть, в это время... крайняя нужда?..

— Вовсе нет. Анна Марковна с меня содрала раза в три дороже, чем это стоило бы в студенческой столовой. Просто мне хотелось пожить здесь поближе, потеснее, так сказать, войти интимно в этот мирок.

— А-а! Я, кажется, начинаю понимать! — просиял Ярченко. — Наш новый друг, — извините за маленькую фамильярность, — по-видимому, собирает бытовой материал? И, может быть, через несколько лет мы будем иметь удовольствие прочитать...

— Трррагедию из публичного дома! — вставил громко, по-актерски, Борис Собашников.

В то время, когда репортер отвечал Ярченку, Тамара тихо встала со своего места, обошла стол и, нагнувшись над Собашниковым, сказала ему шепотом на ухо:

– Миленький, хорошенъкий, вы бы лучше этого господина не трогали. Ей-богу, для вас же будет лучше.

– Чтой-та? – высокомерно взглянул на нее студент, поправляя двумя расставленными пальцами пенсне. – Он – твой любовник? Кот?

– Клянусь вам чем хотите, он ни разу в жизни ни с одной из нас не оставался. Но, повторяю, вы его не задирайте.

– Ну да! Ну конечно! – возразил Собашников, презрительно кривляясь. – У него такая прекрасная защита, как весь публичный дом. И, должно быть, все вышибали с Ямской – его близкие друзья и приятели.

– Нет, не то, – возразила ласковым шепотом Тамара. – А то, что он возьмет вас за воротник и выбросит в окно, как щенка. Я такой воздушный полет однажды уже видела. Не дай бог никому. И стыдно, и опасно для здоровья.

– Пошла вон, сволочь! – крикнул Собашников, замахиваясь на нее локтем.

– Иду, миленький, – кротко ответила Тамара и отошла от него своей легкой походкой.

Все на мгновение обернулись к студенту.

– Не буянь, барбарис! – погрозил ему пальцем Лихонин. – Ну, ну, говорите, – попросил он репортера, – все это так интересно, что вы рассказываете.

– Нет, я ничего не собираю, – продолжал спокойно и серьезно репортер. – А материал здесь действительно огромный, прямо подавляющий, страшный… И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, о белых рабынях, о проституции, как о разъедающей язве больших городов, и так далее и так далее… старая, всем надоевшая шарманка! Нет, ужасны будничные, привычные мелочи, эти деловые, дневные, коммерческие расчеты, эта тысячететняя наука любовного обхождения, этот прозаический обиход, устоявшийся веками. В этих незаметных пустяках совершенно растворяются такие чувства, как обида, унижение, стыд. Остается сухая профессия, контракт, договор, почти что честная торговлишка, ни хуже, ни лучше какой-нибудь бакалейной торговли. Понимаете ли, господа, в этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса! Мещанские будни – и только. Да еще привкус закрытого учебного заведения с его наивностью, грубостью, сентиментальностью и подражательностью.

– Это верно, – подтвердил Лихонин, а репортер продолжал, глядя задумчиво в свою рюмку:

– Читаем мы в публицистике, в передовых статьях разные вопли суеверных душ. И женщины-врачи тоже стараются по этой части и стараются довольно противно. «Ах, регламентация! Ах, аболиционизм! Ах, живой товар! Крепостное положение! Хозяйки, эти жадные гетеры! Эти гнусные выродки человечества, сосущие кровь проституток!..» Но ведь криком никого не испугаешь и не проймешь. Знаете, есть поговорочка: визгу много, а шерсти мало. Страшнее всяких страшных слов, в сто раз страшнее, какой-нибудь этакий маленький прозаический штришок, который вас вдруг точно по лбу ошарашил. Возьмите хотя бы здешнего швейцара Симеона. Уж, кажется, по-вашему, ниже некуда спуститься: вышибала в публичном доме, зверь, почти наверно – убийца, обирает проституток, делает им «черный глаз», по здешнему выражению, то есть просто-напросто бьет. А знаете ли, на чем мы с ним сошлись и подружились? На пышных подробностях архиерейского служения, на каноне честного Андрея, пастыря Критского, на творениях отца преблаженного Иоанна Дамаскина. Религиозен – необычайно! Заведу его, бывало, и он со слезами на глазах поет мне: «Приидите, последнее целование дадимте, братие, усопшему…» Из чина погребения мирских человек. Нет, вы подумайте: ведь только в одной русской душе могут ужиться такие противоречия!

– Да. Такой помолится-помолится, потом зарежет, а потом умоет руки и поставит свечу перед образом, – сказал Рамзес.

– Именно. Я ничего не знаю более жуткого, чем это соединение вполне искренней набожности с природным тяготением к преступлению. Признаться ли вам? Я, когда разговариваю

один на один с Симеоном, – а говорим мы с ним подолгу и неторопливо так, часами, – я испытываю минутами настоящий страх. Суеверный страх! Точно вот я стою в сумерках на зыбкой дощечке, наклонившись над каким-то темным зловонным колодцем, и едва-едва различаю, как там, на дне, копошатся гады. А ведь он по-настоящему набожен и, я уверен, пойдет когда-нибудь в монахи и будет великим постником и молитвенником, и, черт его знает, каким уродливым образом переплется в его душе настоящий религиозный экстаз с богохульством, с кощунством, с какой-нибудь отвратительной страстью, с садизмом или еще с чем-нибудь вроде этого?

– Однако вы не щадите объекта ваших наблюдений, – сказал Ярченко и осторожно показал глазами на девиц.

– Э, все равно. У нас с ним теперь прохладные отношения.

– Почему так? – спросил Володя Павлов, поймавший конец разговора.

– Да так… не стоит и рассказывать… – уклончиво улыбнулся репортер. – Пустяк… Давайте-ка сюда вашу рюмку, господин Ярченко.

Но торопливая Нюра, у которой ничто не могло удержаться во рту, вдруг выпалила скотоговоркой:

– Потому что Сергей Иваныч ему по морде дали… Из-за Нинки. К Нинке пришел один старик… И остался на ночь… А у Нинки был красный флаг… И старик все время ее мучил… А Нинка заплакала и убежала.

– Брось, Нюра, скучно, – сказал, сморщившись, Платонов.

– Одепне! (отстань) – строго приказала на жаргоне домов терпимости Тамара. Но разбесившуюся Нюру невозможно было остановить.

– А Нинка говорит: я, говорит, ни за что с ним не останусь, хоть режьте меня на куски… всю, говорит, меня слюнями обмочил. Ну старик, понятно, пожаловался швейцару, а швейцар, понятно, давай Нинку бить. А Сергей Иваныч в это время писал мне письмо домой, в провинцию, и как услышал, что Нинка кричит…

– Зоя, зажми ей рот! – сказал Платонов.

– Так сейчас вскочил и… ап!! – И Нюрин поток мгновенно прервался, заткнутый ладонью Зои.

Все засмеялись, только Борис Собашников под шумок пробормотал с презрительным видом:

– Oh, chevalier sans peur et sans reproche!¹⁶

Он уже был довольно сильно пьян, стоял, прислонившись к стене, в вызывающей позе, с заложенными в карманы брюк руками, и нервно жевал папиросу.

– Это какая же Нинка? – спросил с любопытством Рамзес. – Она здесь?

– Нет, ее нету. Такая маленькая, курносая девчонка. Наивная и очень сердитая. – Репортер вдруг внезапно и искренно расхохотался. – Извините… это я так… своим мыслям, – объяснил он сквозь смех. – Я сейчас очень живо вспомнил этого старика, как он в испуге бежал по коридору, захватив верхнюю одежду и башмаки… Такой почтенный старец, с наружностью апостола, я даже знаю, где он служит. Да и вы все его знаете. Но всего курьезнее было, когда он наконец в зале почувствовал себя в безопасности. Понимаете: сидит на стуле, надевает панталоны, никак не попадет ногой, куда следует, и орет на весь дом: «Безобразие! Гнусный притон! Я вас выведу на чистую воду!.. Завтра же в двадцать четыре часа!..» Знаете ли, это соединение жалкой беспомощности с грозными криками было так уморительно, что даже мрачный Симеон рассмеялся… Ну вот, кстати о Симеоне… Я говорю, что жизнь поражает, ставит в тупик своей диковинной путаницей и неразберихой. Можно наслаждаться тысячу громких слов о сутенерах, а вот именно такого Симеона ни за что не придумаешь. Так разнообразна и пестра

¹⁶ О, рыцарь без страха и упрека! (фр.)

жизнь! Или еще возьмите здешнюю хозяйку Анну Марковну. Эта кровопийца, гиена, мегера и так далее... – самая нежная мать, какую только можно себе представить. У нее одна дочь – Берта, она теперь в пятом классе гимназии. Если бы вы видели, сколько осторожного внимания, сколько нежной заботы затрачивает Анна Марковна, чтобы дочь не узнала как-нибудь случайно о ее профессии. И все – для Берточки, все – ради Берточки. И сама при ней не смеет даже разговаривать, боится за свой лексикон бандерши и бывшей проститутки, глядит ей в глаза, держит себя рабски, как старая прислуга, как глупая, преданная нянька, как старый, верный, опаршивевший пудель. Ей уж давно пора уйти на покой, потому что и деньги есть, и занятие ее здесь тяжелое и хлопотное, и годы ее уже почтенные. Так ведь нет: надо еще лишнюю тысячу, а там и еще и еще – все для Берточки. А у Берточки лошади, у Берточки англичанка, Берточку каждый год возят за границу, у Берточки на сорок тысяч брильянтов – черт их знает, чьи они, эти брильянты? И ведь я не только уверен, но я твердо знаю, что для счаствия этой самой Берточки, нет, даже не для счаствия, а предположим, что у Берточки сделается на пальчике заусеница, – так вот, чтобы эта заусеница прошла, – вообразите на секунду возможность такого положения вещей! – Анна Марковна, не сморгнув, продаст на растление наших сестер и дочерей, заразит нас всех и наших сыновей сифилисом. Что? Вы скажете – чудовище? А я скажу, что ею движет та же великая, неразумная, слепая, эгоистическая любовь, за которую мы все называем наших матерей святыми женщинами.

– Легче на поворотах! – заметил сквозь зубы Борис Собашников.

– Простите: я не сравнивал людей, а только обобщал первоисточник чувства. Я мог бы привести для примера и самоотверженную любовь матерей-животных. Но вижу, что затеял скучную материю. Лучше бросим.

– Нет, вы договорите, – возразил Лихонин. – Я чувствую, что у вас была цельная мысль.

– И очень простая. Давеча профессор спросил меня, не наблюдаю ли я здешней жизни с какими-нибудь писательскими целями. И я хотел только сказать, что я умею видеть, но именно не умею наблюдать. Вот я привел вам в пример Симеона и бандершу. Я не знаю сам почему, но я чувствую, что в них таится какая-то ужасная, непреоборимая действительность жизни, но ни рассказать ее, ни показать ее я не умею, – мне не дано этого. Здесь нужно великое умение взять какую-нибудь мелочишку, ничтожный, бросовый штришок, и получится страшная правда, от которой читатель в испуге забудет закрыть рот. Люди ищут ужасного в словах, в криках, в жестах. Ну вот, например, читаю я описание какого-нибудь погрома, или избиения в тюрьме, или усмирения. Конечно, описываются городовые, эти слуги произвола, эти опричники современности, шагающие по колено в крови, или как там еще пишут в этих случаях? Конечно, возмутительно, и больно, и противно, но все это – умом, а не сердцем. Но вот я иду утром по Лебяжьей улице, вижу – собралась толпа, в середине девочка пяти лет, – оказывается, отстала от матери и заблудилась, или, быть может, мать ее бросила. А перед девочкой на корточках городовой. Расспрашивает, как ее зовут, да откуда, да как зовут папу, да как зовут маму. Вспотел, бедный, от усилия, шапка на затылке, огромное усатое лицо такое доброе, и жалкое, и беспомощное, а голос ласковый-преласковый. Наконец, что вы думаете? Так как девочонка вся переволновалась, и уже осипла от слез, и всех дичится – он, этот самый «имеющийся постовой городовой», вытягивает вперед два своих черных, заскорузлых пальца, указательный и мизинец, и начинает делать девочке козу! «Ро-о-гами задобу, ногами затопу!..» И вот, когда я глядел на эту милую сцену и подумал, что через полчаса этот самый постовой будет в участке бить ногами в лицо и в грудь человека, которого он до сих пор ни разу в жизни не видел и преступление которого для него совсем неизвестно, то – вы понимаете! – мне стало невыразимо жутко и тоскливо. Не умом, а сердцем. Такая чертовская путаница эта жизнь. Выпьем, Лихонин, коньяк?

– Хотите на ты? – предложил вдруг Лихонин.

– Хорошо. Только без поцелуйчиков, правда? Будь здоров, мой милый… Или вот еще пример. Читаю я, как один французский классик описывает мысли и ощущения человека, приговоренного к смертной казни. Громко, сильно, блестяще описывает, а я читаю и… ну, никакого впечатления: ни волнения, ни возмущения – одна скука. Но вот на днях попадается мне короткая хроникерская заметка о том, как где-то во Франции казнили убийцу. Прокурор, который присутствовал при последнем туалете преступника, видит, что тот надевает башмаки на босу ногу, и – болван! – напоминает: «А чулки-то?» А тот посмотрел на него и говорит так раздумчиво: «Стоит ли?» Понимаете: эти две коротеньких реплики меня как камнем по черепу! Сразу раскрылся передо мною весь ужас и вся глупость насильственной смерти… Или вот еще о смерти. Умер один мой приятель, пехотный капитан, – пьяница, бродяга и душевнейший человек в мире. Мы его звали почему-то электрическим капитаном. Я был поблизости, и мне пришлось одевать его для последнего парада. Я взял его мундир и стал надевать к нему эполеты. Там, знаете, в ушко эполетных пуговиц продевается шнурок, а потом два конца этого шнурка просовываются сквозь две дырочки под воротником и изнутри, с подкладки, завязываются. И вот проделал я всю эту процедуру, завязываю шнурок петелькой, и, знаете, все у меня никак не выходит петля: то чересчур некрепко связана, то один конец слишком короток. Копошусь я над этой ерундой, и вдруг мне в голову приходит самая удивительно простая мысль, что гораздо проще и скорее завязать узлом – ведь все равно *никто развязывать не будет*. И сразу я всем своим существом почувствовал смерть. До тех пор я видел остекленевшие глаза капитана, щупал его холодный лоб и все как-то не осознал смерти, а подумал об узле – и всего меня пронизало и точно пригнуло к земле простое и печальное сознание о невозвратимой, неизбежной погибели всех наших слов, дел и ощущений, о гибели всего видимого мира… И таких маленьких, но поразительных мелочей я мог бы привести сотню… Хотя бы о том, что такое люди испытывали на войне… Но я хочу свести свою мысль к одному. Все мы проходим мимо этих характерных мелочей равнодушно, как слепые, точно не видя, что они валяются у нас под ногами. А придет художник, и разглядит, и подберет. И вдруг так умело повернет на солнце крошечный кусочек жизни, что все мы ахнем. «Ах, боже мой! Да ведь это я сам – сам! – лично видел. Только мне просто не пришло в голову обратить на это пристального внимания». Но наши русские художники слова – самые совестливые и самые искренние во всем мире художники – почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, мне трудно ответить на это. Может быть, по брезгливости, по малодушию, из-за боязни прослыть порнографическим писателем, наконец просто из страха, что наша кумовская критика отождествит художественную работу писателя с его личной жизнью и пойдет копаться в его грязном белье. Или, может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко-близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга.

– Пишут же! – нехотя заметил Рамзес.

– Пишут, – в тон ему скучно повторил Платонов. – Но все это или ложь, или театральные эффекты для детей младшего возраста, или хитрая символика, понятная лишь для мудрецов будущего. А самой жизни никто еще не трогал. Один большой писатель – человек с хрустально чистой душой и замечательным изобразительным талантом – подошел однажды к этой теме, и вот все, что может схватить глаз внешнего, отразилось в его душе, как в чудесном зеркале. Но лгать и пугать людей он не решился. Он только поглядел на жесткие, как у собаки, волосы швейцара и подумал: «А ведь и у него, наверно, была мать». Скользнул своим умным, точным взглядом по лицам проституток и запечатлел их. Но того, чего он не знал, он не посмел написать. Замечательно, что этот же писатель, обаятельный своей честностью и правдивостью, приглядывался не однажды и к мужику. Но он почувствовал, что и язык, и склад мысли, и душа народа для него темны и непонятны… И он с удивительным тактом, скромно обошел душу

народа стороной, а весь запас своих прекрасных наблюдений преломил сквозь глаза городских людей. Я нарочно об этом упомянул. У нас, видите ли, пишут о сыщиках, об адвокатах, об акцизных надзирателях, о педагогах, о прокурорах, о полиции, об офицерах, о сладострастных дамах, об инженерах, о баритонах, – и пишут, ей-богу, совсем хорошо – умно, тонко и талантливо. Но ведь все эти люди – сор, и жизнь их не жизнь, а какой-то надуманный, призрачный, ненужный бред мировой культуры. Но вот есть две странных действительности – древних, как само человечество: проститутка и мужик. И мы о них ничего не знаем, кроме каких-то сусаль-ных, пряничных, ёрнических изображений в литературе. Я вас спрашиваю: что русская литература выжала из всего кошмара проституции? Одну Сонечку Мармеладову. Что она дала о мужике, кроме паскудных, фальшивых народнических пасторалей? Одно, всего лишь одно, но зато, правда, величайшее в мире произведение, – потрясающую трагедию, от правдивости которой захватывает дух и волосы становятся дыбом. Вы знаете, о чем я говорю…

– «Коготок увяз…» – тихо подсказал Лихонин.

– Да, – ответил репортер с благодарностью, ласково поглядел на студента.

– Ну, что касается Сонечки, то ведь это абстрактный тип, – заметил уверенно Ярченко. –

Так сказать, психологическая схема…

Платонов, который до сих пор говорил точно нехотя, с развалецей, вдруг загорячился:

– Сто раз слышал это суждение, сто раз! И вовсе это неправда. Под грубой и похабной профессией, под матерными словами, под пьяным, безобразным видом – и все-таки жива Сонечка Мармеладова! Судьба русской проститутки – о, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь! Здесь все совместилось: русский бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, русское терпение, русское бесстыдство. Ведь все они, которых вы берете в спальни, – поглядите, поглядите на них хорошенъко, – ведь все они – дети, ведь им всем по одиннадцати лет. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса – совсем как дети. Эту светлую и смешную детскость я видел у самых опустившихся, самых старых девок, заезженных и искалеченных, как извозчики клячи. И не умирает в них никогда эта бессильная жалость, это бесполезное сочувствие к человеческому страданию… Например…

Платонов обвел всех сидящих медленным взором и, вдруг махнувши рукой, сказал усталым голосом:

– А впрочем… к черту! Я сегодня наговорился лет на десять… И все это ни к чему.

– Но, в самом деле, Сергей Иванович, отчего бы вам не попробовать все это описать самому? – спросил Ярченко. – У вас так живо сосредоточено внимание на этом вопросе.

– Пробовал! – с невеселой усмешкой ответил Платонов. – Но ничего не выходит. Начну писать и сейчас же заплутаюсь в разных «что», «который», «был». Эпитеты выходят пошлыми. Слова простыают на бумаге. Какая-то жвачка. Знаете ли, здесь однажды проездом был Терехов… Тот… известный… Я пришел к нему и стал рассказывать ему многое-многое о здешней жизни, чего я вам не говорю из боязни наскучить. Я просил его воспользоваться моим материалом. Он выслушал меня с большим вниманием, и вот что он сказал буквально: «Не обижайтесь, Платонов, если я вам скажу, что нет почти ни одного человека из встречаемых мною в жизни, который не совал бы мне тем для романов и повестей или не учил бы меня, о чем надо писать. Тот материал, что вы мне сейчас сообщили, прямо необъятен по своему смыслу и весу. Но что я с ним поделаю? Чтобы написать такую колоссальную книгу о какой вы думаете, мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблюдений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет страшная книга». Слова его меня обескуражили и в то же время окрылили. С этих пор я верю, что не теперь, не скоро, лет через пятьдесят, но придет

гениальный и именно русский писатель, который вберет в себя все тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно-жгучих образов. И все мы скажем: «Да ведь это всё мы сами видели и знали, но мы и предположить не могли, что это так ужасно!» В этого грядущего художника я верю всем сердцем.

— Аминь! — сказал серьезно Лихонин. — Выпьем за него.

— А, ей-богу, — вдруг отозвалась Манька Маленькая. — Хотя бы кто-нибудь написал по правде, как живем мы здесь, б.... разнесчастные...

В дверь постучали, и тотчас же вошла Женя в своем блестящем оранжевом платье.

X

Она непринужденно, с независимым видом первого персонажа в доме поздоровалась со всеми мужчинами и села около Сергея Ивановича, позади его стула. Она только что освободилась от того самого немца в форме благотворительного общества, который рано вечером остановил свой выбор на Мане Беленькой, а потом переменил ее, по рекомендации экономки, на Пашу. Но задорная и самоуверенная красота Жени, должно быть, сильно уязвила его блудливое сердце, потому что, прошлявшись часа три по каким-то пивным заведениям и ресторанам и набравшись там мужества, он опять вернулся в дом Анны Марковны, дождался, пока от Жени не ушел ее временный гость — Карл Карлович из оптического магазина, — и взял ее в комнату.

На безмолвный — глазами — вопрос Тамары Женя с отвращением поморщилась, содрогнулась спиною и утвердительно кивнула головой.

— Ушел... Бррр!..

Платонов с чрезвычайным вниманием приглядывался к Жене. Ее он отличал среди прочих девушек и почти уважал за крутой, неподатливый и дерзко-насмешливый характер. И теперь, изредка оборачиваясь назад, он по ее горящим прекрасным глазам, по ярко и неровно рдевшему на щеках нездоровому румянцу, по искусанным запекшимся губам чувствовал, что в девушке тяжело колышется и душит ее большая, давно назревшая злоба. И тогда же он подумал (и впоследствии часто вспоминал об этом), что никогда он не видел Женю такой блестяще-красивой, как в эту ночь. Он заметил также, что все бывшие в кабинете мужчины, за исключением Лихонина, глядят на нее — иные откровенно, другие — украдкой и точно мельком, — с любопытством и затаенным желанием. Красота этой женщины вместе с мыслью о ее ежеминутной, совсем легкой доступности волновала их воображение.

— С тобой что-то такое творится, Женя, — сказал тихо Платонов.

Она ласково, чуть-чуть провела пальцами по его руке.

— Не обращай внимания. Так... наши бабские дела... Тебе будет неинтересно.

Но тотчас же, повернувшись к Тамаре, она страстно и быстро заговорила что-то на условном жаргоне, представляющем диковинную смесь из еврейского, цыганского к румынского языков и из воровских и конокрадских словечек.

— Не звони метличка, метлик фартовы, — прервала ее Тамара и с улыбкой показала глазами на репортера.

Платонов действительно понял. Женя с негодованием рассказывала о том, что за сегодняшний вечер и ночь, благодаря наплыву дешевой публик, несчастную Пашу брали в комнату больше десяти раз — и все разные мужчины. Только сейчас с ней сделался истерический припадок, закончившийся обмороком. И вот, едва приведя Пашу в чувство и отпив ее валерьянными каплями на рюмке спирта, Эмма Эдуардовна опять послала ее в зал. Женя попробовала было заступиться за подругу, но экономка обругала заступницу и пригрозила ей наказанием.

— О чем это она? — в недоумении спросил Ярченко, высоко подымая брови.

— Не беспокойтесь... ничего особенного... — ответила Женя еще взъерошенным голосом. — Так... наш маленький семейный вздор... Сергей Иваныч, можно мне вашего вина?

Она налила себе полстакана и выпила коньяк залпом, широко раздувая тонкие ноздри. Платонов молча встал и пошел к двери.

– Не стоит, Сергей Иваныч. Бросьте… – остановила его Женя.

– Да нет, отчего же? – возразил репортер. – Я сделаю самую простую и невинную вещь, возьму Пашу сюда, а если придется – так и уплачу за нее. Пусть полежит здесь на диване и хоть немного отдохнет… Нюра, живо сбегай за подушкой!

Едва закрылась дверь за его широкой, неуклюжей фигурой в сером платье, как тотчас же Борис Собашников заговорил с презрительной резкостью:

– На кой черт, господа, мы затащили в свою компанию этого фрукта с улицы? Очень нужно связываться со всякой рванью. Черт его знает, кто он такой, – может быть, даже шпион? Кто может ручаться? И всегда ты так, Лихонин.

– Ну какая тебе, Боря, опасность от шпиона? – добродушно возразил Лихонин.

– Это не Лихонин, а я его познакомил со всеми, – сказал Рамзес. – Я его знаю за вполне порядочного человека и за хорошего товарища.

– Э! Чепуха! Хороший товарищ выпить на чужой счет. Разве вы сами не видите, что это самый обычный тип завсегдатая при публичном доме, и всего вероятнее, что он просто здешний кот, которому платят проценты за угощение, в которое он втравливает посетителей.

– Оставь, Боря. Глупо, – укоризненно заметил Ярченко.

Но Боря не мог оставить. У него была несчастная особенность: опьянение не действовало ему ни на ноги, ни на язык, но приводило его в мрачное, обидчивое настроение и толкало на ссоры. А Платонов давно уже раздражал его своим небрежно-искренним, уверенным и серьезным тоном, так мало подходящим кциальному кабинету публичного дома. Но еще больше сердило Собашникова то кажущееся равнодушие, с которым репортер пропускал его злые вставки в разговор.

– И потом, каким он тоном позволяет себе говорить в нашем обществе! – продолжал кипятиться Собашников. – Какой-то апломб, снисходительность, профессорский тон… Паршивый трехкопеечный писака! Бутербродник!

Женя, которая все время пристально глядела на студента, весело и злобно играя блестящими темными глазами, вдруг захлопала в ладоши.

– Вот так! Браво, студентик! Браво, браво!.. Так его, хорошенько!.. В самом деле, что это за безобразие! Вот он придет сюда, – я ему все это повторю.

– Пож-жалуйста! С-сколько угодно! – по-актерски процедил Собашников, делая вокруг рта высокомернобрэзгливые складки. – Я сам повторю то же самое.

– Вот это – молодчина, за это люблю! – восхлинула радостно и зло Женя, ударив кулаком о стол. – Сразу видно сову по полету, доброго молодца по соплям!

Маня Беленькая и Тамара с удивлением посмотрели на Женю, но, заметив лукавые огоньки, прыгавшие в ее глазах, и ее нервно подрагивавшие ноздри, обе поняли и улыбнулись.

Маня Беленькая, смеясь, укоризненно покачала головой. Такое лицо всегда бывало у Жени, когда ее буйная душа чуяла, что приближается ею же самой вызванный скандал.

– Не ершись, Боренька, – сказал Лихонин. – Здесь все равны.

Пришла Нюра с подушкой и положила ее на диван.

– Это еще зачем? – прикрикнул на нее Собашников. – П’шла, сейчас же унеси вон. Здесь не ночлежка.

– Ну, оставь ее, голубчик. Что тебе? – возразила сладким голосом Женя и спрятала подушку за спину Тамары. – Погоди, миленький, вот я лучше с тобой посижу.

Она обошла кругом стола, заставила Бориса сесть на стул и сама взбралась к нему на колени. Обвив его шею рукой, она прижалась губами к его рту так долго и так крепко, что у студента захватило дыхание. Совсем вплотную около своих глаз он увидел глаза женщины – странно большие, темные, блестящие, нечеткие и неподвижные. На какую-нибудь четверть

секунды, на мгновение ему показалось, что в этих неживых глазах запечателось выражение острой, бешеной ненависти; и холод ужаса, какое-то смутное предчувствие грозной, неизбежной беды пронеслось в мозгу студента. С трудом оторвав от себя гибкие Женины руки и оттолкнув ее, он сказал, смеясь, покраснев и часто дыша:

— Вот так темперамент. Ах ты Мессалина Пафнутьевна!.. Тебя, кажется, Женькой звать? Хорошенькая, шельма.

Вернулся Платонов с Пашей. На Пашу жалко и противно было смотреть. Лицо у нее было бледно, с синим отечным отливом, мутные полузакрытые глаза улыбались слабой, идиотской улыбкой, открытые губы казались похожими на две растрепанные красные мокрые тряпки, и шла она какой-то робкой, неуверенной походкой, точно делая одной ногой большой шаг, а другой — маленький. Она послушно подошла к дивану и послушно улеглась головой на подушку, не переставая слабо и безумно улыбаться. Издали было видно, что ей холодно.

— Извините, господа, я разденусь, — сказал Лихонин и, сняв с себя пиджак, набросил его на плечи проститутке. — Тамара, дай ей шоколада и вина.

Борис Собашников опять картинно стал в углу, в наклонном положении, заложив нога за ногу и задрав кверху голову. Вдруг он сказал среди общего молчания самым фатовским тоном, обращаясь прямо к Платонову:

— Э... послушайте... как вас?.. Это, должно быть, и есть ваша любовница? Э? — И он концом сапога показал по направлению лежавшей Паши.

— Что-о? — спросил протяжно Платонов, сдвигая брови.

— Или вы ее любовник — это все равно... Как эта должность здесь у вас называется? Ну, вот те самые, которым женщины вышивают рубашки и с которыми делятся своим честным заработком?.. Э?..

Платонов поглядел на него тяжелым, напряженным взглядом сквозь прищуренные веки.

— Слушайте, — сказал он тихо, хриплым голосом, медленно и веско расставляя слова. — Это уже не в первый раз сегодня, что вы лезете со мной на ссору. Но, во-первых, я вижу, что, несмотря на ваш трезвый вид, вы сильно и скверно пьяны, а во-вторых, я щажу вас ради ваших товарищей. Однако предупреждаю, если вы еще вздумаете так говорить со мною, то снимите очки.

— Что за чушь? — воскликнул Борис и поднял кверху плечи и фыркнул носом. — Какие очки? Почему очки? — Но машинально, двумя вытянутыми пальцами, он поправил дужку пенсне на переносице.

— Потому что я вас ударю, и осколки могут попасть в глаз, — равнодушно сказал репортер.

Несмотря на неожиданность такого оборота ссоры, никто не рассмеялся. Только Манька Беленькая удивленно ахнула и всплеснула руками. Женя с жадным нетерпением перебегала глазами от одного к другому.

— Ну, положим! Я и сам так дам сдачи, что не обрадуешься! — грубо, совсем по-мальчишески, выкрикнул Собашников. — Только не стоит рук марать обо всяком... — он хотел прибавить новое ругательство, но не решился, — со всяким... И вообще, товарищи, я здесь оставаться больше не намерен. Я слишком хорошо воспитан, чтобы панибратствовать с подобными субъектами.

Он быстро и гордо пошел к дверям.

Ему приходилось пройти почти вплотную около Платонова, который краем глаза, по-звериному, следил за каждым его движением. На один момент у студента мелькнуло было в уме желание неожиданно, сбоку, ударить Платонова и отскочить — товарищи, наверно, разняли бы их и не допустили до драки. Но он тотчас же, почти не глядя на репортера, каким-то глубоким, бессознательным инстинктом, увидел и почувствовал эти широкие кисти рук, спокойно лежавшие на столе, эту упорно склоненную вниз голову с широким лбом и все неуклюже-ловкое, сильное тело своего врага, так небрежно сгорбившееся и распустившееся на стуле, но готовое

каждую секунду к быстрому и страшному толчку И Собашников вышел в коридор, громко захлопнув за собой дверь.

– Баба с возу, кобыле легче, – насмешливо, скороговоркой сказала вслед ему Женя. – Тамарочка, налей мне еще коньяк.

Но встал с своего места длинный студент Петровский и счел нужным вступиться за Собашникова.

– Вы как хотите, господа, это дело вашего личного взгляда, но я принципиально ухожу вместе с Борисом. Пусть он там не прав и так далее, мы можем выразить ему порицание в своей интимной компании, но раз нашему товарищу нанесли обиду – я не могу здесь оставаться. Я ухожу.

– Ах ты, боже мой! – И Лихонин досадливо и нервно почесал себе висок. – Борис же все время вел себя в высокой степени пошло, грубо и глупо. Что это за такая корпоративная честь, подумаешь? Коллективный уход из редакции, из политических собраний, из публичных домов. Мы не офицеры, чтобы прикрывать глупость каждого товарища.

– Все равно, как хотите, но я ухожу из чувства солидарности! – сказал важно Петровский и вышел.

– Будь тебе земля пухом! – послала ему вдогонку Женя.

Но как извилисты и темны пути человеческой души! Оба они – и Собашников и Петровский – поступили в своем негодовании довольно искренно, но первый только наполовину, а второй всего лишь на четверть. У Собашникова, несмотря на его опьянение и гнев, все-таки стучалась в голову заманчивая мысль, что теперь ему удобнее и легче перед товарищами вызвать потихоньку Женю и уединиться с нею. А Петровский, совершенно с тою же целью и имея в виду ту же Женю, пошел вслед за Борисом, чтобы взять у него взаймы три рубля. В общей зале они поладили между собою, а через десять минут в полуотворенную дверь кабинета просунула свое косенькое, розовое, хитрое лицо экономка Зоя.

– Женечка, – позвала она, – иди, там тебе белье принесли, посчитай. А тебя, Нюра, актер просит прийти к нему на минуточку, выпить шампанского. Он с Генриеттой и с Маней Большой.

Быстрая и нелепаяссора Платонова с Борисом долго служила предметом разговора. Репортер всегда в подобных случаях чувствовал стыд, неловкость, жалость и терзания совести. И несмотря на то что все оставшиеся были на его стороне, он говорил со скукой в голосе:

– Господа, ей-богу, я лучше уйду. К чему я буду расстраивать ваш кружок? Оба мы были виноваты. Я уйду. О счете не беспокойтесь, я уже все уплатил Симеону, когда ходил за Пашей.

Лихонин вдруг взъерошил волосы и решительно встал.

– Да нет, черт побери, я пойду и приволоку его сюда. Честное слово, они оба славные ребята – и Борис и Васька. Но еще молоды и на свой собственный хвост лают. Я иду за ними и ручаюсь, что Борис извинится.

Он ушел, но вернулся через пять минут.

– Упокояются, – мрачно сказал он и безнадежно махнул рукой. – Оба.

XI

В это время в кабинет вошел Симеон с подносом, на котором стояли два бокала с игристым золотым вином и лежала большая визитная карточка.

– Позвольте упросить, кто здесь будет Гаврила Петрович господин Ярченко? – сказал он, оглядывая сидевших.

– Я! – отозвался Ярченко.

– Пожалуйте-с. Господин актер прислали.

Ярченко взял визитную карточку, украденную сверху громадной маркизской короной, и прочитал вслух:

Евмений Полуэктович
ЭГМОНТ-ЛАВРЕЦКИЙ
Драматический артист столичных театров.

– Замечательно, – сказал Володя Павлов, – что все русские Гаррики носят такие странные имена, вроде Хрисанфов, Фетисов, Мамантов и Епимахов.

– И кроме того, самые известные из них обязательно или картавят, или пришепетывают, или заикаются, – прибавил репортер.

– Да, но замечательнее всего то, что я совсем не имею высокой чести знать этого артиста столичных театров. Впрочем, здесь на обороте что-то еще написано. Судя по почерку, писано человеком сильно пьяным и слабо грамотным.

– «Пю» – не пью, а пю, – пояснил Ярченко. – «Пю за здоровье светила русской науки Гаврила Петровича Ярченко, которого случайно увидел, проходя мимо по колидору. Желал бы чокнуться лично. Если не помните, то вспомните Народный театр, “Бедность не порок” и скромного артиста, игравшего Африкан».

– Да, это верно, – сказал Ярченко. – Мне как-то навязали устроить этот благотворительный спектакль в Народном театре. Смутно мелькает у меня в памяти и какое-то бритое гордое лицо, но... Как быть, господа?

Лихонин ответил добродушно:

– А волоките его сюда. Может быть, он смешной?

– А вы? – обратился приват-доцент к Платонову.

– Мне все равно. Я его немножко знаю. Сначала будет кричать: «Кельнер, шампанского!», потом расплачется о своей жене, которая – ангел, потом скажет патриотическую речь и, наконец, поскандалит из-за счета, но не особенно громко. Да ничего, он занятный.

– Пусть идет, – сказал Володя Павлов из-за плеча Кати, сидевшей, болтая ногами, у него на коленях.

– А ты, Вельтман?

– Что? – встрепенулся студент. Он сидел на диване спиною к товарищам около лежавшей Паши, нагнувшись над ней, и давно уже с самым дружеским, сочувственным видом поглаживал ее то по плечам, то по волосам на затылке, а она уже улыбалась ему своей застенчиво-бесстыдной и бессмысленно-страстной улыбкой сквозь полуопущенные и трепетавшие ресницы. – Что? В чем дело? Ах да, можно ли сюда актера? Ничего не имею против. Пожалуйста...

Ярченко послал через Симеона приглашение, и актер пришел и сразу же начал обычную актерскую игру. В дверях он остановился, в своем длинном сюртуке, сиявшем шелковыми отворотами, с блестящим цилиндром, который он держал левой рукой перед серединой груди, как актер, изображающий на театре пожилого светского льва или директора банка. Приблизительно этих лиц он внутренно и представлял себе.

– Будет ли мне позволено, господа, вторгнуться в вашу тесную компанию? – спросил он жирным, ласковым голосом, с полупоклоном, сделанным несколько набок.

Его попросили, и он стал знакомиться. Пожимая руки, он оттопыривал вперед локоть и так высоко подымал его, что кисть оказывалась гораздо ниже. Теперь это уже был не директор банка, а этакий лихой, молодцеватый малый, спортсмен и кутила из золотой молодежи. Но его лицо – с взъерошенными дикими бровями и с обнаженными безволосыми веками – было вульгарным, суровым и низменным лицом типичного алкоголика, развратника и мелко жестокого человека. Вместе с ним пришли две его дамы: Генриетта – самая старшая по годам девица в заведении Анны Марковны, опытная, все видевшая и ко всему притерпевшаяся, как старая лошадь на приводе у молотилки, обладательница густого баса, но еще красивая женщина, и

Манька Большая, или Манька Крокодил. Генриетта еще с прошлой ночи не расставалась с актером, бравшим ее из дома в гостиницу.

Усевшись рядом с Ярченко, он сейчас же заиграл новую роль – он сделался чем-то вроде старого добряка-помещика, который сам был когда-то в университете и теперь не может глядеть на студентов без тихого отеческого умиления.

– Поверьте, господа, что душой отыхаешь среди молодежи от всех этих житейских дрязг, – говорил он, придавая своему жесткому и порочному лицу по-актерски преувеличено и неправдоподобное выражение растроганности. – Эта вера в святой идеал, эти честные порывы!.. Что может быть выше и чище нашего русского студенчества?.. Кёльнер! Шампанскава-а! – заорал он вдруг оглушительно и треснул кулаком по столу.

Лихонин и Ярченко не захотели остаться у него в долгую. Началась попойка. Бог знает каким образом в кабинете очутились вскоре Мишка-певец и Колька-бухгалтер, которые сейчас же запели своими скачущими голосами:

Чу-у-у-уют пра-а-а-авду,
Ты ж, заря-я-я-я, скоре-е-е-е.

Появился и проснувшийся Ванька-Встанька. Опустив умильно набок голову и сделав на своем морщинистом, старом лице Дон-Кихота узенъкие, слезливые, сладкие глазки, он говорил убедительно-просящим тоном:

– Господа студенты… угостили бы старицка… Ей-богу, люблю образование… Дозвольте!

Лихонин всем был рад, но Ярченко сначала – пока ему не бросилось в голову шампанское – только поднимал кверху свои коротенькие черные брови с боязливым, удивленным и наивным видом. В кабинете вдруг сделалось тесно, дымно, шумливо и душно. Симеон с грохотом запер снаружи болтами ставни. Женщины, только что отдавшиеся от визита или в промежутке между танцами, заходили в комнату, сидели у кого-нибудь на коленях, курили, пели вразброс, пили вино, целовались, и опять уходили, и опять приходили. Приказчики от Керешковского, обиженные тем, что девицы больше уделяли внимания кабинету, чем залу, затеяли было скандал и пробовали вступить со студентами в задорное объяснение, но Симеон в один миг укротил их двумя-тремя властными словами, брошенными как будто бы мимоходом.

Вернулась из своей комнаты Ниура и немного спустя вслед за ней Петровский. Петровский с крайне серьезным видом заявил, что он все это время ходил по улице, обдумывая произошедший инцидент, и, наконец, пришел к заключению, что товарищ Борис был действительно неправ, но что есть и смягчающее его вину обстоятельство – опьянение.

Пришла потом и Женя, но одна: Собашников заснул в ее комнате.

У актера оказалась пропасть талантов. Он очень верно подражал жужжанию мухи, которую пьяный ловит на оконном стекле, и звукам пилы; смешно представлял, став лицом в угол, разговор нервной дамы по телефону, подражал пению граммофонной пластинки и, наконец, чрезвычайно живо показал мальчишку-персиянина с ученой обезьянкой. Держась рукой за воображаемую цепочку и в то же время оскаливаясь, приседая, как мартышка, часто моргая веками и почесывая себе то зад, то волосы на голове, он пел гнусавым, однотонным и печальным голосом, коверкая слова:

Малядой кизак на война пишол,
Малядой барышня под забором валается,
Айна, айна, ай-на-на-на, ай-на на-на-на.

В заключение он взял на руки Маню Беленькую, завернул ее бортами сюртука и, протянув руку и сделав плачущее лицо, закивал головой, склоненной набок, как это делают черномазые

грязные восточные мальчишки, которые шляются по всей России в длинных старых солдатских шинелях, с обнаженной, бронзового цвета грудью, держа за пазухой кашляющую, облезлую обезьянку.

– Ты кто такой? – строго спросила толстая Катя, знавшая и любившая эту шутку.
– Сербиян, барина-а-а, – жалобно простонал в нос актер. – Подари что-нибудь, барина-а-а.

– А как твою обезьянку зовут?
– Матрешка-а-а… Он, барина, голодни-и-ий… он кушай хочи-и-ить.
– А паспорт у тебя есть?
– Ми сербия-а-ан. Дай что-нибудь, барина-а-а…

Актер оказался совсем не лишним. Он произвел сразу много шума и поднял падавшее настроение. И поминутно он кричал зычным голосом: «Кёльнер! Шампанскава-а-а!» – хотя привыкший к его манере Симеон очень мало обращал внимания на эти крики.

Началась настоящая русская громкая и непонятная бестолочь. Розовый, белокурый, миловидный Толпигин играл на пианино сегидилью из «Кармен», а Ванька-Встанька плясал под нее камаринского мужика. Подняв кверху узкие плечи, весь искособочившись, растопырив пальцы опущенных вниз рук, он затейливо перебирал на месте длинными, тонкими ногами, потом вдруг пронзительно ухал, вскидывался и выкрикивал в такт своей дикой пляски:

Ух! Пляши, Матвей,
Не жалей лаптей!

– Эх, за одну выходку четвертной мало! – приговаривал он, встряхивая длинными седеющими волосами.

– Чу-у-уют пра-а-а-авду! – ревели два приятеля, с трудом подымая отяжелевшие веки под мутными, закисшими глазами.

Актер стал рассказывать похабные анекдоты, выссыпая их как из мешка, и женщины визжали от восторга, сгибались пополам от смеха и отваливались на спинки кресел. Вельтман, долго шептавшийся с Пащей, незаметно, под шумок, ускользнул из кабинета, а через несколько минут после него ушла и Паша, улыбаясь своей тихой, безумной и стыдливой улыбкой.

Да и все остальные студенты, кроме Лихонина, один за другим, кто потихоньку, кто под каким-нибудь предлогом, исчезали из кабинета и подолгу не возвращались. Володе Павлову захотелось поглядеть на танцы, у Толпигина разболелась голова, и он попросил Тамару провести его умыться, Петровский, тайно перехватив у Лихонина три рубля, вышел в коридор и уже оттуда послал экономку Зою за Манькой Беленькой. Даже благородный и брезгливый Рамзес не смог справиться с тем пряным чувством, какое в нем возбуждала сегодняшняя странная яркая и болезненная красота Жени. У него оказалось на нынешнее утро какое-то важное, неотложное дело, надо было поехать домой и хоть два часика поспать. Но, простишись с товарищами, он, прежде чем выйти из кабинета, быстро и многозначительно указал Жене глазами на дверь. Она поняла, медленно, едва заметно, опустила ресницы в знак согласия, и когда опять их подняла, то Платонова, который, почти не глядя, видел этот немой разговор, поразило то выражение злобы и угрозы в ее глазах, с каким она проводила спину уходившего Рамзеса. Выждав пять минут, она встала, сказала: «Извините, я сейчас», – и вышла, раскачивая своей оранжевой короткой юбкой.

– Что же? Теперь твоя очередь, Лихонин? – спросил насмешливо репортер.

– Нет, брат, ошибся! – сказал Лихонин и прищелкнул языком. – И не то, что я по убеждению или из принципа… Нет! Я, как анархист, исповедываю, что чем хуже, тем лучше… Но, к счастию, я игрок и весь свой темперамент трачу на игру, поэтому во мне простая брезгливость

говорит гораздо сильнее, чем это самое неземное чувство. Но удивительно, как совпали наши мысли. Я только что хотел тебя спросить о том же.

— Я — нет. Иногда, если сильно устану, я ночую здесь. Беру у Исаи Саввича ключ от его комнатки и сплю на диване. Но все девицы давно уже привыкли к тому, что я — существо третьего пола.

— И неужели... никогда?..

— Никогда.

— Уж что верно, то верно! — воскликнула Нюра. — Сергей Иваныч как святой отшельник.

— Раньше, лет пять тому назад, я и это испытал, — продолжал Платонов. — Но, знаете, уж очень это скучно и противно. Вроде тех мух, которых сейчас представлял господин артист. Слепились на секунду на подоконнике, а потом в каком-то дурацком удивлении почесали задними лапками спину и разлетелись навеки. А разводить здесь любовь?.. Так для этого я герой не их романа. Я некрасив, с женщинами робок, стеснителен и вежлив. А они здесь жаждут диких страстей, кровавой ревности, слез, отравлений, побоев, жертв — словом, истерического романтизма. Да оно и понятно. Женское сердце всегда хочет любви, а о любви им говорят ежедневно разными кислыми, слюнявыми словами.

Невольно хочется в любви перцу. Хочется уже не слов страсти, а трагически-страстных поступков. И поэтому их любовниками всегда будут воры, убийцы, сутенеры и другая сволочь. А главное, — прибавил Платонов, — это тотчас же испортило бы мне все дружеские отношения, которые так славно наладились.

— Будет шутить! — недоверчиво возразил Лихонин. — Что же тебя заставляет здесь дневать и ночевать? Будь ты писатель — дело другого рода. Легко найти объяснение: ну, собираешь типы, что ли... наблюдаешь жизнь... Вроде того профессора-немца, который три года прожил с обезьянами, чтобы изучить их язык и нравы. Но ведь ты сам сказал, что писательством не балуешься?

— Не то что не балуюсь, а просто не умею, не могу.

— Запишем. Теперь предположим другое — что ты являешься сюда как проповедник лучшей, честной жизни, вроде этакого спасителя погибающих душ. Знаешь, как на заре христианства иные святые отцы, вместо того чтобы стоять на столпе тридцать лет или жить в лесной пещере, шли на торжища, в дома веселья, к блудницам и скоморохам. Но ведь ты не так?

— Не так.

— Зачем же, черт побери, ты здесь толчешься? Я чудесно же вижу, что многое тебе самому противно, и тяжело, и больно. Например, эта дурацкаяссора с Борисом или этот лакей, бьющий женщину, да и вообще постоянное созерцание всяческой грязи, похоти, зверства, пошлости, пьянства. Ну, да раз ты говоришь, — я тебе верю, что блуду ты не предаешься. Но тогда мне еще непонятнее твой modus vivendi⁷, выражаясь штилем передовых статей.

Репортер ответил не сразу.

— Видишь ли, — заговорил он медленно, с расстановками, точно в первый раз вслушиваясь в свои мысли и взвешивая их. — Видишь ли, меня притягивает и интересует в этой жизни ее... как бы это выразиться?.. ее страшная, обнаженная правда. Понимаешь ли, с нее как будто бы сдернуты все условные покровы. Нет ни лжи, ни лицемерия, ни ханжества, нет никаких сделок ни с общественным мнением, ни с навязчивым авторитетом предков, ни с своей совестью. Никаких иллюзий, никаких прикрас! Вот она — я! Публичная женщина, общественный сосуд, клоака для стока избытка городской похоти. Иди ко мне любой, кто хочет, — ты не встретишь отказа, в этом моя служба. Но за секунду этого сладострастия в попыхах — ты заплатишь деньгами, отвращением, болезнью и позором. И все. Нет ни одной стороны человеческой жизни,

⁷ образ жизни (лат.).

где бы основная, главная правда сияла с такой чудовищной, безобразной голой яркостью, без всякой тени человеческого лганья и самообеления.

– Ну, положим! Эти женщины врут, как зеленые лошади. Поди-ка поговори с ней о ее первом падении. Такого наплетеет.

– А ты не спрашивай. Какое тебе дело? Но если они и лгут, то лгут совсем как дети. А ведь ты сам знаешь, что дети – это самые первые, самые милые вральшики и в то же время самый искренний на свете народ. И замечательно, что и те и другие, то есть и проститутки и дети, лгут только нам – мужчинам – и взрослым. Между собой они не лгут – они лишь вдохновенно импровизируют. Но нам они лгут потому, что мы сами этого от них требуем, потому что мы лезем в их совсем чуждые нам души со своими глупыми приемами и расспросами, потому, наконец, что они нас втайне считают большими дураками и бестолковыми притворщиками. Да вот хочешь, я тебе сейчас пересчитаю по пальцам все случаи, когда проститутка непременно лжет, и ты сам убедишься, что к лганью ее побуждает мужчина.

– Ну, ну, посмотрим.

– Первое: она беспощадно красится, даже иногда и в ущерб себе. Отчего? Оттого, что каждый прыщавый юнкер, которого так тяготит его половая зрелость, что он весною глупеет, точно тетерев на току, и какой-нибудь жалкий чинодрал из управы благочиния, муж беременной жены и отец девяти младенцев, – ведь оба они приходят сюда вовсе не с благоразумной и простой целью оставить здесь избыток страсти. Он, негодяй, пришел насладиться, ему – этакому эстету! – видите ли, нужна красота. А все эти девицы, эти дочери простого, незатейливого великого русского народа, как смотрят на эстетику? «Что сладко – то вкусно, что красиво – то красиво». И вот на, изволь, получай себе красоту из сурьмы, белил и румян.

Это раз. Второе то, что этот же распрекрасный кавалер мало того что хочет красоты, – нет, ему подай еще подобие любви, чтобы в женщине от его ласк зажегся бы этот самый «агонь безу-умнай са-та-ра-са-ти!», о которой поется в идиотских романах. А! Ты этого хочешь? На! И женщина лжет ему лицом, голосом, вздохами, стонами, телодвижениями. И он сам ведь в глубине души знает про этот профессиональный обман, но – подите же! – все-таки обольщается: «Ах, какой я красивый мужчина! Ах, как меня женщины любят! Ах, в какое я их привожу исступление!...» Знаете, бывает, что человеку с самой отчаянной наглостью, самым неправдоподобным образом льстят в глаза, и он сам это отлично видит и знает, но – черт возьми! – какое-то сладостное чувство все-таки обмасливает душу. Так и здесь. Спрашивается: чей же почин во лжи?

А вот вам, Лихонин, еще и третий пункт. Вы его сами подсказали. Больше всего они лгут, когда их спрашивают: «Как дошла ты до жизни такой?» Но какое же право ты имеешь ее об этом спрашивать, черт бы тебя побрал?! Ведь она не лезет же в твою интимную жизнь? Она же не интересуется твоей первой «святой» любовью или невинностью твоих сестер и твоей невесты. Ага! Ты платишь деньги? Чудесно! Бандерша, и вышибала, и полиция, и медицина, и городская управа блодут твои интересы. Прекрасно! Тебе гарантировано вежливое и благопристойное поведение со стороны нанятой тобою для любви проститутки, и личность твоя неприкосновенна… хотя бы даже в самом прямом смысле, в смысле пощечины, которую ты, конечно, заслуживаешь своими бесцельными и, может быть, даже мучительными расспросами. Но ты за свои деньги захотел еще и правды? Ну уж этого тебе никогда не учесть и не контролировать. Тебе расскажут именно такую шаблонную историю, какую ты – сам человек шаблона и пошляк – легче всего переваришь. Потому что сама по себе жизнь или чересчур обыдена и скучна для тебя, или уж так чересчур неправдоподобна, как только умеет быть неправдоподобной жизнь. И вот тебе вечная средняя история об офицере, о приказчике, о ребенке и о престарелом отце, который там, в провинции, оплакивает заблудшую дочь и умоляет ее вернуться домой. Но заметь, Лихонин, все, что я говорю, к тебе не относится. В тебе, честное слово, я чувствую искреннюю и большую душу… Давай выпьем за твое здоровье?

Они выпили.

— Говорить ли дальше? — продолжал нерешительно Платонов. — Скучно?

— Нет, нет, прошу тебя, говори.

— Лгут они еще и лгут особенно невинно тем, кто перед ними красуется на политических конях. Тут они со всем, с чем хочешь, соглашаются. Я ей сегодня скажу: «Долой современный буржуазный строй! Уничтожим бомбами и кинжалами капиталистов, помещиков и бюрократию!» Она горячо согласится со мною. Но завтра лабазник Ноздрунов будет орать, что надо перевешать всех социалистов, передрать всех студентов и разгромить всех жидов, причащающихся христианской кровью. И она радостно согласится и с ним. Но если к тому же еще вы воспламените ее воображение, влюбите ее в себя, то она за вами пойдет всюду, куда хотите: на погром, на баррикаду, на воровство, на убийство. Но и дети ведь так же податливы. А они, ей-богу, дети, милый мой Лихонин...

В четырнадцать лет ее растили, а в шестнадцать она стала патентованной проституткой, с желтым билетом и с венерической болезнью. И вот вся ее жизнь обведена и отгорожена от вселенной какой-то причудливой, слепой и глухой стеной. Обрати внимание на ее обиходный словарь — тридцать — сорок слов, не более, — совсем как у ребенка или дикаря: есть, пить, спать, мужчина, кровать, хозяйка, рубль, любовник, доктор, больница, белье, городовой — вот и все. Ее умственное развитие, ее опыт, ее интересы так и остаются на детском уровне до самой смерти, совершенно так же, как у седой и наивной классной дамы, с десяти лет не переступавшей институтского порога, как у монашенки, отданной ребенком в монастырь. Словом, представь себе дерево настоящей крупной породы, но выращенное в стеклянном колпаке, в банке из-под варенья. И именно к этой детской стороне их быта я и отношу их вынужденную ложь — такую невинную, бесцельную и привычную... Но зато какая страшная, голая, ничем не убранная, откровенная правда в этом деловом торге о цене ночи, в этих десяти мужчинах в вечер, в этих печатных правилах, изданных отцами города, об употреблении раствора борной кислоты и о содержании себя в чистоте, в еженедельных докторских осмотрах, в скверных болезнях, на которые смотрят так же легко и шутливо, так же просто и без страдания, как на насморк, в глубоком отвращении этих женщин к мужчинам, — таком глубоком, что все они, без исключения, возмещают его лесбийским образом и даже ничуть этого не скрывают. Вот вся их нелепая жизнь у меня как на ладони, со всем ее цинизмом, уродливой и грубой несправедливостью, но нет в ней той лжи и того притворства перед людьми и перед собою, которые опутывают все человечество сверху донизу. Подумай, милый Лихонин, сколько нудного, длительного, противного обмана, сколько ненависти в любом брачном сожительстве в девяносто девяти случаях из ста. Сколько слепой, беспощадной жестокости — именно не животной, а человеческой, разумной, дальновидной, расчетливой жестокости — в святом материнском чувстве, и смотри, какими нежными цветами разубрано это чувство! А все эти ненужные, шутовские профессии, выдуманные культурным человеком для охраны моего гнезда, моего куска мяса, моей женщины, моего ребенка, эти разные надзиратели, контролеры, инспекторы, судьи, прокуроры, тюремщики, адвокаты, начальники, чиновники, генералы, солдаты и еще сотни и тысячи названий. Все они обслуживают человеческую жадность, трусость, порочность, рабство, узаконенное сладострастие, леность — нищенство! Да, вот оно, настоящее слово: человеческое нищенство! А какие пышные слова! Алтарь отечества, христианское сострадание к ближнему, прогресс, священный долг, священная собственность, святая любовь. Тьфу! Ни одному красивому слову я теперь не верю, а тошно мне с этими лгунишками, трусами и обжорами до бесконечности! Нищенки!.. Человек рожден для великой радости, для беспрестанного творчества, в котором он — бог, для широкой, свободной, ничем не стесненной любви ко всему: к дереву, к небу, к человеку, к собаке, к милой, кроткой, прекрасной земле, ах, особенно к земле с ее блаженным материнством, с ее утрами и ночами, с ее прекрасными ежедневными чудесами. А человек так изолгался, испопрошайничался и унизился!.. Эх, Лихонин, тоска!

— Я, как анархист, отчасти понимаю тебя, — сказал задумчиво Лихонин. Он как будто бы слушал и не слушал репортера. Какая-то мысль тяжело, в первый раз, рождалась у него в уме. — Но одного не постигаю. Если уж так тебе осмердело человечество, то как ты терпишь, да еще так долго, вот это все, — Лихонин обвел стол круглым движением руки, — самое подлое, что могло придумать человечество?

— А я сам не знаю, — сказал простодушно Платонов. — Видишь ли, я — бродяга и страстно люблю жизнь. Я был токарем, наборщиком, сеял и продавал табак, махорку-серебрянку, плавал кочегаром по Азовскому морю, рыбачил на Черном — на Дубининских промыслах, грузил арбузы и кирпич на Днепре, ездил с цирком, был актером, — всего и не упомню. И никогда меня не гнала нужда. Нет, только безмерная жадность к жизни и нестерпимое любопытство. Ей-богу, я хотел бы на несколько дней сделаться лошадью, растением или рыбой или побить женщиной и испытать роды; я бы хотел пожить внутренней жизнью и посмотреть на мир глазами каждого человека, которого встречаю. И вот я беспечно брожу по городам и весям, ничем не связанный, знаю и люблю десятки ремесл и радостно плыву всюду, куда угодно судьбе направить мой парус... Так-то вот я и набрел на публичный дом, и чем больше в него вглядываюсь, тем больше во мне растет тревога, непонимание и очень большая злость. Но и этому скоро конец. Как перевалит дело на осень — опять айда! Поступлю на рельсопрокатный завод. У меня приятель есть один, он устроит... Постой, постой, Лихонин... Послушай актера... Это акт третий.

Эгмонт-Лаврецкий, до сих пор очень удачно подражавший то поросенку, которого сажают в мешок, то ссоре кошки с собакой, стал понемногу раскисать и опускаться. На него уже находил очередной стих самообличения, в припадке которого он несколько раз покушался поцеловать у Ярченко руку. Веки у него покраснели, вокруг бритых колючих губ углубились плаксивые морщины, и по голосу было слышно, что его нос и горло уже переполнялись слезами.

— Служу в фарсе! — говорил он, бия себя в грудь кулаком. — Кривляюсь в полосатых кальсонах на потеху сытой толпе! Угасил свой светильник, зарыл в землю талант, как раб ленивый! А пре-ежде, — заблеял он трагически, — пре-ежде-е-е! Спросите в Новочеркасске, спросите в Твери, в Устюжене, в Звенигородке, в Крыжополе. Каким я был Жадовым и Белугиным, как я играл Макса, какой образ я создал из Вельтищева — это была моя коронная ро-оль. Надин-Перекопский начинал со мной у Сумбекова! С Никифоровым-Павленко служил. Кто сделал имя Легунову-Почайнину? Я! А тепе-ерь...

Он всхлипнул носом и полез целовать приват-доцента.

— Да! Презирайте меня, клеймите меня, честные люди. Паясничаю, пьяничу... Продал и разлил священный елей! Сижу в вертепе с продажным товаром. А моя жена... святая, чистая, голубка моя!.. О, если бы она знала, если бы только она знала! Она трудится, у нее модный магазин, у нее пальцы — эти ангельские пальцы — истыканы иголкой, а я! О, святая женщина! И я — негодяй! — на кого я тебя меняю! О, ужас! — Актер схватил себя за волосы. — Профессор, дайте я поцелую вашу ученую руку. Вы один меня понимаете. Поедемте, я вас познакомлю с ней, вы увидите, какой это ангел!.. Она ждет меня, она не спит ночей, она складывает ручки моим малюткам и вместе с ними шепчет: «Господи, спаси и сохрани папу».

— Врешь ты все, актер! — сказала вдруг пьяная Манька Беленькая, глядя с ненавистью на Эгмента-Лаврецкого. — Ничего она не шепчет, а преспокойно спит с мужчиной на твоей кровати.

— Молчи, б....! — завопил исступленно актер и, схватив за горло бутылку, высоко поднял ее над головой. — Держите меня, иначе я размозжу голову этой стерве. Не смей осквернять своим поганым языком...

— У меня язык не поганый, я причастие принимаю, — дерзко ответила женщина. — А ты, дурак, рога носишь. Ты сам шляешься по проституткам, да еще хочешь, чтобы тебе жена не изменяла. И нашел же, болван, место, где слону вожжой распустить. Зачем ты детей-то при-

плел, папа ты злосчастный! Ты на меня не ворочай глазами и зубами не скрипи. Не запугаешь! Сам ты б....!

Потребовалось много усилий и красноречия со стороны Ярченки, чтобы успокоить актера и Маньку Беленькую, которая всегда после бенедиктина лезла на скандал. Актер под конец обширно и некрасиво, по-старчески, расплакался и рассморкался, ослабел, и Генриетта увела его к себе.

Всеми уже овладело утомление. Студенты один за другим возвращались из спален, и врозь от них с равнодушным видом приходили их случайные любовницы. И правда, и те и другие были похожи на мух, самцов и самок, только что разлетевшихся с оконного стекла. Они зевали, потягивались, и с их бледных от бессонницы, нездороно лоснящихся лиц долго не сходило невольное выражение тоски и брезгливости. И когда они, перед тем как разъехаться, прощались друг с другом, то в их глазах мелькало какое-то враждебное чувство, точно у соучастников одного и того же грязного и ненужного преступления.

– Ты куда сейчас? – вполголоса спросил у репортера Лихонин.

– А, право, сам не знаю. Хотел было переночевать в кабинете у Исаи Саввича, но жаль потерять такое чудесное утро. Думаю выкупаться, а потом сяду на пароход и поеду в Липский монастырь к одному знакомому пьяному чернецу. А что?

– Я тебя попрошу остаться немножко и пересидеть остальных. Мне нужно сказать тебе два очень важных слова.

– Идет.

Последний ушел Ярченко. Он ссыпался на головную боль и усталость. Но едва он вышел из дома, как репортер схватил за руку Лихонина и быстро потащил его в стеклянные сени подъезда.

– Смотри! – сказал он, указывая на улицу.

И сквозь оранжевое стекло цветного окошка Лихонин увидел приват-доцента, который звонил к Треппелю. Через минуту дверь открылась, и Ярченко исчез за ней.

– Как ты узнал? – спросил с удивлением Лихонин.

– Пустяки. Я видел его лицо и видел, как его руки гладили Веркино трико. Другие поменьше стеснялись. А этот стыдлив.

– Ну, так пойдем, – сказал Лихонин. – Я тебя недолго задержу.

XII

Из девиц остались в кабинете только две: Женя, пришедшая в ночной кофточке, и Люба, которая уже давно спала под разговор, свернувшись калачиком в большом плюшевом кресле. Свежее веснушчатое лицо Любы приняло кроткое, почти детское выражение, а губы как улыбнулись во сне, так и сохранили легкий отпечаток светлой, тихой и нежной улыбки. Сине и едко было в кабинете от густого табачного дыма, на свечах в канделябрах застыли оплавившие бородавчатые струйки; залитый кофеем и вином, забросанный апельсинными корками стол казался безобразным.

Женя сидела с ногами на диване, обхватив колени руками. И опять Платонова поразил мрачный огонь ее глубоких глаз, точно запавших под темными бровями, грозно сдвинутыми сверху вниз, к переносью.

– Я потушу свечи, – сказал Лихонин.

Утренний полусвет, водянистый и сонный, наполнил комнату сквозь щели ставен. Сла-быми струйками курились потушенные фитили свечей. Слоистыми голубыми пеленами колыхался табачный дым, но солнечный луч, прорезавшийся сквозь сердцеобразную выемку в ставне, пронизал кабинет вкось веселым, пыльным, золотым мечом и жидким горячим золотом расплескался на обоях стены.

— Так-то лучше, — сказал Лихонин, садясь. — Разговор будет короткий, но... черт его знает... как к нему приступить.

Он рассеянно поглядел на Женю.

— Так я уйду? — сказала она равнодушно.

— Нет, ты посиди, — ответил за Лихонина репортер. — Она не помешает, — обратился он к студенту и слегка улыбнулся. — Ведь разговор будет о проституции? Не так ли?

— Ну, да... вроде...

— И отлично. Ты к ней прислушайся. Мнения у нее бывают необыкновенно циничного свойства, но иногда чрезвычайной вескости.

Лихонин крепко потер и помял ладонями свое лицо, потом сцепил пальцы с пальцами и два раза нервно хрустнул ими. Видно было, что он волновался и сам стеснялся того, что собирался сказать.

— Ах, да не все ли равно! — вдруг воскликнул он сердито. — Ты вот сегодня говорил об этих женщинах... Я слушал... Правда, нового ты ничего мне не сказал. Но — странно — я почему-то, точно в первый раз за всю мою беспутную жизнь, поглядел на этот вопрос открытыми глазами... Я спрашиваю тебя, что же такое наконец проституция? Что она? Блажной бред больших городов или это вековечное историческое явление? Прекратится ли она когда-нибудь? Или она умрет только со смертью всего человечества? Кто мне ответит на это?

Платонов смотрел на него пристально, слегка, по привычке, щурясь. Его интересовало, какою главною мыслью так искренно мучится Лихонин.

— Когда она прекратится — никто тебе не скажет. Может быть, тогда, когда осуществлятся прекрасные утопии социалистов и анархистов, когда земля станет общей и ничьей, когда любовь будет абсолютно свободна и подчинена только своим неограниченным желаниям, а человечество сольется в одну счастливую семью, где пропадет различие между твоим и моим, и наступит рай на земле, и человек опять станет нагим, блаженным и безгрешным. Вот разве тогда...

— А теперь? Теперь? — спрашивает Лихонин с возраставшим волнением. — Глядеть сложа ручки? Моя хата с краю? Терпеть, как неизбежное зло? Мириться, махнуть рукой? Благословить?

— Зло это не неизбежное, а непреоборимое. Да не все ли тебе равно? — спросил Платонов с холодным удивлением. — Ты же ведь анархист?

— Какой я к черту анархист! Ну да, я анархист, потому что разум мой, когда я думаю о жизни, всегда логически приводит меня к анархическому началу. И я сам думаю в теории: пускай люди людей бьют, обманывают и стригут, как стада овец, — пускай! — насилие породит рано или поздно злобу. Пусть насилиют ребенка, пусть топчут ногами творческую мысль, пусть рабство, пусть проституция, пусть воруют, глумятся, проливают кровь... Пусть! Чем хуже, тем лучше, тем ближе к концу. Есть великий закон, думаю я, одинаковый как для неодушевленных предметов, так и для всей огромной, многомилионной и многолетней человеческой жизни: сила действия равна силе противодействия. Чем хуже, тем лучше. Пусть накопляется в человечестве зло и месть, пусть они растут и зреют, как чудовищный нарыв — нарыв во весь земной шар величиной. Ведь лопнет же он когда-нибудь! И пусть будет ужас и нестерпимая боль. Пусть гной затопит весь мир. Но человечество или захлебнется в нем и погибнет, или, переболев, возродится к новой, прекрасной жизни.

Лихонин жадно выпил чашку черного холодного кофе и продолжал пылко:

— Да. Так именно я и многие другие теоретизируем, сидя в своих комнатах за чаем с булкой и с вареной колбасой, причем ценность каждой отдельной человеческой жизни — это так себе, бесконечно малое число в математической формуле. Но увижу я, что обижают ребенка, и красная кровь мне хлынет в голову от бешенства. И когда я погляжу, погляжу на труд мужика или рабочего, меня кидает в истерику от стыда за мои алгебраические выкладки. Есть — черт

его побери! – есть что-то в человеке нелепое, совсем не логичное, но что в сей раз сильнее человеческого разума. Вот и сегодня… Почему я сейчас чувствую себя так, как будто бы я обокрал спящего, или обманул трехлетнего ребенка, или ударил связанного? И почему мне сегодня кажется, что я сам виноват в зле проституции, – виноват своим молчанием, своим равнодушием, своим косвенным попустительством? Что мне делать, Платонов? – воскликнул студент со скорбью в голосе.

Платонов промолчал, щуря на него узенькие глаза. Но Женя неожиданно сказала язвительным тоном:

– А ты сделай так, как сделала одна англичанка… Приезжала к нам тут одна рыжая старая халда. Должно быть, очень важная, потому что с целой свитой приезжала… всё какие-то чиновники… А до нее приезжал пристава помощник с околоточным Кербешем. Помощник так прямо и предупредил: «Если вы, стервы, растак-то и растак-то, хоть одно грубое словечко или что, так от вашего заведения камня на камне не оставлю, а всех девок перепорю в участке и в тюрьме сгною!» Ну и приехала эта грымза. Лоташила-лоташила что-то по-иностранныму, все рукой на небо показывала, а потом раздала нам всем по пятаковому евангелию и уехала. Вот и вы бы так, миленький.

Платонов громко рассмеялся. Но, увидев наивное и печальное лицо Лихонина, который точно не понимал и даже не подозревал насмешки, он сдержал смех и сказал серьезно:

– Ничего не сделаешь, Лихонин. Пока будет собственность, будет и нищета. Пока существует брак, не умрет и проституция. Знаешь ли ты, кто всегда будет поддерживать и питать проституцию? Это так называемые порядочные люди, благородные отцы семейств, безукоризненные мужья, любящие братья. Они всегда найдут почтенный повод узаконить, нормировать и обандеролить платный разврат, потому что они отлично знают, что иначе он хлынет в их спальни и детские. Проституция для них – оттяжка чужого сладострастия от их личного, законного алькова. Да и сам почтенный отец семейства не прочь втайне предаться любовному дебошу. Надоест же, в самом деле, все одно и то же: жена, горничная и дама на стороне. Человек в сущности животное много и даже чрезвычайно многобрачное. И его петушиным любовным инстинктам всегда будет сладко развертываться в этаком пышном рассаднике, вроде Треппеля или Анны Марковны. О, конечно, уравновешенный супруг или счастливый отец шестерых взрослых дочерей всегда будет орать об ужасе проституции. Он даже устроит при помощи лотереи и любительского спектакля общество спасения падших женщин или приют во имя святой Магдалины. Но существование проституции он благословит и поддержит.

– Магдалинские приюты! – с тихим смехом, полным давней, непереболевшей ненависти, повторила Женя.

– Да, я знаю, что все эти фальшивые мероприятия – чушь и сплошное надругательство, – перебил Лихонин. – Но пусть я буду смешон и глуп – и я не хочу оставаться соболезнующим зрителем, который сидит на завалинке, глядит на пожар и приговаривает: «Ах, батюшки, ведь горит… ей-богу, горит! Пожалуй, и люди ведь горят!» – а сам только причитает и хлопает себя по ляжкам.

– Ну да, – сказал сурово Платонов, – ты возьмешь детскую спринцовку и пойдешь с нею тушить пожар?

– Нет! – горячо воскликнул Лихонин. – Может быть, – почем знать? – Может быть, мне удастся спасти хоть одну живую душу… Об этом я и хотел тебя попросить, Платонов, и ты должен помочь мне… Только умоляю тебя, без насмешек, без расхолаживания…

– Ты хочешь взять отсюда девушку? Спасти? – внимательно глядя на него, спросил Платонов. Он теперь понял, к чему клонился весь этот разговор.

– Да… я не знаю… я попробую, – неуверенно ответил Лихонин.

– Вернется назад, – сказал Платонов.

– Вернется, – убежденно повторила Женя.

Лихонин подошел к ней, взял ее за руки и заговорил дрожащим шепотом:

– Женечка... может быть, вы... А? Ведь не в любовницы зову... как друга... Пустяки, полгода отдыха... а там какое-нибудь ремесло изучим... будем читать...

Женя с досадой выхватила из его рук свои.

– Ну тебя в болото! – почти крикнула она. – Знаю я вас! Чулки тебе штопать? На керосинке стряпать? Ночей из-за тебя не спать, когда ты со своими коротковолосыми будешь болтать? А как ты заделаешься доктором, или адвокатом, или чиновником, так меня же в спину коленом: пошла, мол, на улицу, публичная шкура, жизнь ты мою молодую заела. Хочу на порядочной жениться, на чистой, на невинной...

– Я как брат... Я без этого... – смущенно лепетал Лихонин.

– Знаю я этих братьев. До первой ночи... Брось и не говори ты мне чепухи! Скучно слушать.

– Подожди, Лихонин, – серьезно начал репортер. – Ведь ты и на себя взвалишь непосильный груз. Я знал идеалистов-народников, которые принципиально женились на простых крестьянских девках. Так они и думали: натура, чернозем, непочатые силы... А этот чернозем через год обращался в толстенную бабищу, которая целый день лежит на постели и жует пряники или унижает свои пальцы копеечными кольцами, растопырит их и любуется. А то сидит на кухне, пьет с кучером сладкую наливку и разводит с ним натуральный роман. Смотрите, здесь хуже будет!

Все трое замолчали. Лихонин был бледен и утикал платком мокрый лоб.

– Нет, черт возьми! – крикнул он вдруг упрямо. – Не верю я вам! Не хочу верить! Люба! – громко позвал он заснувшую девушку. – Любочка!

Девушка проснулась, провела ладонью по губам в одну сторону и в другую, зевнула и смешино, по-детски, улыбнулась.

– Я не спала, я все слышала, – сказала она. – Только самую-самую чуточку задремала.

– Люба, хочешь ты уйти отсюда со мною? – спросил Лихонин и взял ее за руку. – Но совсем, навсегда уйти, чтобы больше уже никогда не возвращаться ни в публичный дом, ни на улицу?

Люба вопросительно, с недоумением поглядела на Женю, точно безмолвно ища у нее объяснения этой шутки.

– Будет вам, – сказала она лукаво. – Вы сами еще учитесь. Куда же вам девицу брать на содержание.

– Не на содержание, Люба... Просто хочу помочь тебе... Ведь не сладко же тебе здесь, в публичном доме-то!

– Понятно, не сахар! Если бы я была такая гордая, как Женечка, или такая увлекательная, как Паша... а я ни за что здесь не привыкну...

– Ну и пойдем, пойдем со мной!.. – убеждал Лихонин. – Ты ведь, наверно, знаешь какое-нибудь рукоделье, ну там шить что-нибудь, вышивать, метить?

– Ничего я не знаю! – застенчиво ответила Люба, и засмеялась, и покраснела, и закрыла локтем свободной руки рот. – Что у нас, по-деревенскому, требуется, то знаю, а больше ничего не знаю. Стряпать немного умею... у попа жила – стряпала.

– И чудесно! И превосходно! – обрадовался Лихонин. – Я тебе пособлю, открою тебе столовую... Понимаешь, дешевую столовую... Я рекламу тебе сделаю... Студенты будут ходить! Великолепно!..

– Будет смеяться-то! – немного обидчиво возразила Люба и опять искоса вопросительно посмотрела на Женю.

– Он не шутит, – ответила Женя странно дрогнувшим голосом. – Он вправду, серьезно.

– Вот тебе честное слово, что серьезно! Вот ей-богу! – с жаром подхватил студент и для чего-то даже перекрестился на пустой угол.

— А в самом деле, — сказала Женя, — берите Любку. Это не то что я. Я как старая драгунская кобыла с норовом. Меня ни сеном, ни плетью не переделаешь. А Любка — девочка простая и добрая. И к жизни нашей еще не привыкла. Что ты, дурища, пялишь на меня глаза? Отвечай, когда тебя спрашивают. Ну? Хочешь или нет?

— А что же? Если они не смеются, а взаправду... А ты что, Женечка, мне посоветуешь?...

— Ах, дерево какое! — рассердилась Женя. — Что же, по-твоему, лучше: с проваленным носом на соломе сгнить? Под забором издохнуть, как собаке? Или сделаться честной? Дура! Тебе бы ручку у него поцеловать, а ты кобенишься.

Наивная Люба и в самом деле потянулась губами к руке Лихонина, и это движение всех рассмешило и чуть-чуть растрогало.

— И прекрасно! И волшебно! — сутился обрадованный Лихонин. — Иди и сейчас же заяви хозяйке, что ты уходишь отсюда навсегда. И вещи забери самые необходимые. Теперь не то, что раньше, теперь девушка, когда хочет, может уйти из публичного дома.

— Нет, так нельзя, — остановила его Женя, — что она уйти может — это верно, но неприятностей и крику не оберешься. Ты вот что, студент, сделай. Тебе десять рублей не жаль?

— Конечно, конечно... Пожалуйста.

— Пусть Люба скажет экономке, что ты ее берешь на сегодня к себе на квартиру. Это уж такса — десять рублей. А потом, ну хоть завтра, приезжай за ее билетом и за вещами. Ничего, мы это дело обладим кругло. А потом ты должен пойти в полицию с ее билетом и заявить, что вот такая-то Любка нанялась служить у тебя за горничную и что ты желаешь переменить ее бланк на настоящий паспорт. Ну, Любка, живо! Бери деньги и марш. Да, смотри, с экономкой-то будь половчее, а то она, сука, по глазам прочтет. Да и не забудь, — крикнула она уже вдогонку Любке, — румяны-то с морды сотри. А то извозчики будут пальцами показывать.

Через полчаса Люба и Лихонин садились у подъезда на извозчика. Женя и репортер стояли на тротуаре.

— Глупость ты делаешь большую, Лихонин, — говорил лениво Платонов, — но что и уважаю в тебе славный порыв. Вот мысль — вот и дело. Смелый ты и прекрасный парень.

— Со вступлением! — смеялась Женя. — Смотрите, на крестины-то не забудьте позвать.

— Не дождется! — хохотал Лихонин, размахивая фуражкой.

Они уехали. Репортер поглядел на Женю и с удивлением увидал в ее смягчившихся глазах слезы.

— Дай бог, дай бог, — шептала она.

— Что с тобою сегодня было, Женя? — спросил он ласково. — Что? Тяжело тебе? Не помогу ли я тебе чем-нибудь?

Она повернулась к нему спиной и нагнулась над резным перилом крыльца.

— Как тебе написать, если нужно будет? — спросила она глухо.

— Да просто. В редакцию «Отголосков». Такому-то. Мне живо передадут.

— Я... я... я... — начала было Женя, но вдруг громко, страстно разрыдалась и закрыла руками лицо, — я напишу тебе...

И, не отнимая рук от лица, вздрагивая плечами, она взбежала на крыльцо и скрылась в доме, громко захлопнув за собою дверь.

Часть вторая

I

До сих пор еще, спустя десять лет, вспоминают бывшие обитатели Ямков тот обильный несчастными, грязными, кровавыми событиями год, который начался рядом пустяковых маленьких скандалов, а кончился тем, что администрация в один прекрасный день взяла и разорила дотла старинное, насиженное, ею же созданное гнездо узаконенной проституции, разметав его остатки по больницам, тюрьмам и улицам большого города. До сих пор еще немногие, оставшиеся в живых, прежние, вконец одряхлевшие хозяйки и жирные, хриплые, как состарившиеся мопсы, бывшие экономки вспоминают об этой общей гибели со скорбью, ужасом и глупым недоумением.

Точно картофель из мешка, посыпались драки, грабежи, болезни, убийства и самоубийства, и, казалось, никто в этом не был виновен. Просто-напросто все злоключения сами собой стали учащаться, наворачиваться друг на друга, шириться и расти, подобно тому как маленький снежный комочек, толкаемый ногами ребят, сам собою, от прилипающего к нему талого снега, становится все больше, больше вырастает выше человеческого роста и, наконец, одним последним небольшим усилием свергается в овраг и скатывается вниз огромной лавиной. Старые хозяйки и экономки, конечно, никогда не слыхали о роке, но внутренне, душою, они чувствовали его таинственное присутствие в неотвратимых бедах того ужасного года.

И правда, повсюду в жизни, где люди связаны общими интересами, кровью, происхождением или выгодами профессии в тесные, обособленные группы, – там непременно наблюдается этот таинственный закон внезапного накопления, нагромождения событий, их эпидемичность, их странная преемственность и связность, их непонятная длительность. Это бывает, как давно заметила народная мудрость, в отдельных семьях, где болезнь или смерть вдруг нападает на близких неотвратимым, загадочным чередом. «Беда одна не ходит». «Пришла беда – отворяй ворота». Это замечается также в монастырях, банках, департаментах, полках, учебных заведениях и других общественных учреждениях, где, подолгу не изменяясь, чуть не десятками лет, жизнь течет ровно, подобно болотистой речке, и вдруг, после какого-нибудь совсем незначительного случая, начинаются переводы, перемещения, исключения из службы, прогрыши, болезни. Члены общества, точно говорившись, умирают, сходят с ума, проворовываются, стреляются или вешаются, освобождается вакансия за вакансиею, повышения следуют за повышениями, вливаются новые элементы, и, смотришь, через два года нет на месте никого из прежних людей, все новое, если только учреждение не распалось окончательно, не расползлось вкось. И не та ли же самая удивительная судьба постигает громадные общественные, мировые организации – города, государства, народы, страны и, почем знать, может быть, даже целые планетные миры?

Нечто, подобное этому непостижимому року, пронеслось и над Ямской слободой, приведя ее к быстрой и скандальной гибели. Теперь вместо буйных Ямков осталась мирная, будничная окраина, в которой живут огородники, кошатники, татары, свиноводы и мясники с близких боен. По ходатайству этих почтенных людей, даже самое название Ямской слободы, как позорящее обывателей своим прошлым, переименовано в Голубевку, в честь купца Голубева, владельца колониального и гастрономического магазина, ктитора местной церкви.

Первые подземные толчки этой катастрофы начались в разгаре лета, во время ежегодной летней ярмарки, которая в этом году была сказочно блестяща. Ее необычайному успеху, многолюдству и огромности заключенных на ней сделок способствовали многие обстоятельства: постройка в окрестностях трех новых сахарных заводов и необыкновенно обильный урожай

хлеба и в особенности свекловицы; открытие работ по проведению электрического трамвая и канализации; сооружение новой дороги на расстояние в семьсот пятьдесят верст; главное же – строительная горячка, охватившая весь город, все банки и другие финансовые учреждения и всех домовладельцев. Кирпичные заводы росли на окраине города, как грибы. Открылась грандиозная сельскохозяйственная выставка. Возникли два новых пароходства, и они вместе со ставропольскими, прежними, неистово конкурировали друг с другом, перевозя груз и богомольцев. В конкуренции они дошли до того, что понизили цены за рейсы с семидесяти пяти копеек для третьего класса до пяти, трех, двух и даже одной копейки. Наконец, изнемогая в непосильной борьбе, одно из пароходных обществ предложило всем пассажирам третьего класса даровой проезд. Тогда его конкурент тотчас же к даровому проезду присовокупил еще полбулки белого хлеба. Но самым большим и значительным предприятием этого года было оборудование обширного речного порта, привлекшее к себе сотни тысяч рабочих и стоившее бог знает каких денег.

Надо еще прибавить, что город в это времяправлял тысячелетнюю годовщину своей знаменитой лавры, наиболее чтимой и наиболее богатой среди известных монастырей России. Со всех концов России, из Сибири, от берегов Ледовитого океана, с крайнего юга, с побережья Черного и Каспийского морей, собирались туда бесчисленные богомольцы на поклонение местным святыням, лаврским угодникам, почивающим глубоко под землею, в известковых пещерах. Достаточно того сказать, что монастырь давал приют и кое-какую пищу сорока тысячам человек ежедневно, а те, которым не хватало места, лежали по ночам вповалку, как дрова, на обширных дворах и улицах лавры.

Это было какое-то сказочное лето. Население города увеличилось чуть ли не втройе всяkim пришлым народом. Каменщики, плотники, маляры, инженеры, техники, иностранцы, землемельцы, маклеры, темные дельцы, речные моряки, праздные бездельники, туристы, воры, шулера – все они переполнили город, и ни в одной, самой грязной, сомнительной гостинице не было свободного номера. За квартиры платились бешеные цены. Биржа играла широко, как никогда ни до, ни после этого лета. Деньги миллионами так и текли ручьями из одних рук в другие, а из этих в третии. Создавались в один час колоссальные богатства, но зато многие прежние фирмы лопались, и вчерашние богачи обращались в нищих. Самые простые рабочие купались и грелись в этом золотом потоке. Портовые грузчики, ломовики, драгали, катали, подносчики кирпичей и землекопы до сих пор еще помнят, какие суточные деньги они зарабатывали в это сумасшедшее лето. Любой боярский при разгрузке барж с арбузами получал не менее четырех-пяти рублей в сутки. И вся эта шумная чужая шайка, одурманенная легкими деньгами, опьяненная чувственной красотой старинного, прелестного города, очарованная сладостной теплотой южных ночей, напоенных вкрадчивым ароматом белой акации, – эти сотни тысяч ненасытных, разгульных зверей во образе мужчин всей своей массовой волей кричали: «Женщину!»

В один месяц возникло в городе несколько десятков новых увеселительных заведений – шикарных «Тиволи», «Шато-де-Флеров», «Олимпий», «Альказаров» и так далее, с хором и с опереткой, много ресторанов и портерных, с летними садиками, и простых кабачков – вблизи строящегося порта. На каждом перекрестке открывались ежедневно «фи-алочные заведения» – маленькие дощатые балаганчики, в каждом из которых под видом продажи кваса торговали собою тут же рядом, за перегородкой из шелевок, по две, по три старых девки, и многим матерям и отцам тяжело и памятно это лето по унизительным болезням их сыновей, гимназистов и кадетов. Для приезжих, случайных гостей потребовалась прислуга, и тысячи крестьянских девушек потянулись из окрестных деревень в город. Неизбежно, что спрос на проституцию стал необыкновенно высоким. И вот, из Варшавы, Лодзи, Одессы, Москвы и даже из Петербурга, даже из-за границы наехало бесчисленное множество иностранок, кокоток русского изделия, самых обыкновенных рядовых проституток и шикарных француженок и

венок. Властино сказалось развращающее влияние сотен миллионов шальных денег. Этот водопад золота как будто захлестнул, завертел и потопил в себе весь город. Число краж и убийств возросло с поражающей быстротой. Полиция, собранная в усиленных размерах, терялась и сбивалась с ног. Но впоследствии, обкорнившись обильными взятками, она стала походить на сытого удава, поневоле сонного и ленивого. Людей убивали ни за что ни про что, так себе. Случалось, просто подходили среди бела дня где-нибудь на малолюдной улице к человеку и спрашивали: «Как твоя фамилия?» – «Федоров». – «Ага, Федоров? Так получай!» – и распирывали ему живот ножом. Так в городе и прозвали этих шалунов «подкальвателями», и были между ними имена, которыми как будто бы гордилась городская хроника: Полищуки, два брата (Митяка и Дундас), Володька Грек, Федор Миллер, капитан Дмитриев, Сивохо, Добровольский, Шпачек и многие другие.

И днем и ночью на главных улицах ошалевшего города стояла, двигалась и орала толпа, точно на пожаре. Почти невозможно было описать, что делалось тогда на Ямках. Несмотря на то что хозяйки увеличили более чем вдвое состав своих пациенток и втрой увеличили цены, их бедные, обезумевшие девушки не успевали удовлетворять требованиям пьяной шальной публики, швырявшей деньгами, как щепками. Случалось, что в переполненном народом зале, где было тесно, как на базаре, каждую девушку дожидалось по семи, восьми, иногда даже по десяти человек. Было поистине какое-то сумасшедшее, пьяное, припадочное время!

С него-то и начались все злоключения Ямков, приведшие их к погибели. А вместе с Ямками погиб и знакомый нам дом толстой, старой, бледноглазой Анны Марковны.

II

Пассажирский поезд весело бежал с юга на север, пересекая золотые хлебные поля и прекрасные дубовые рощи, с грохотом проносясь по железным мостам над светлыми речками, оставляя после себя крутящиеся клубы дыма.

В купе второго класса, даже при открытом окне, стояла страшная духота и было жарко. Запах серного дыма першил в горле. Качка и жара совсем утомили пассажиров, кроме одного, веселого, энергичного, подвижного еврея, прекрасно одетого, услужливого, общительного и разговорчивого. Он ехал с молодой женщиной, и сразу было видно, особенно по ней, что они молодожены: так часто ее лицо вспыхивало неожиданной краской при каждой, самой маленькой нежности мужа. А когда она подымала свои ресницы, чтобы взглянуть на него, то глаза ее сияли, как звезды, и становились влажными. И лицо ее было так прекрасно, как бывают только прекрасны лица у молодых влюбленных еврейских девушек, – все нежно-розовое, с розовыми губами, прелестно-невинно очерченными, и с глазами такими черными, что на них нельзя было различить зрачка от райка.

Не стесняясь присутствия трех посторонних людей, он поминутно расточал ласки, и, надо сказать, довольно грубые, своей спутнице. С бесцеремонностью обладателя, с тем особенным эгоизмом влюбленного, который как будто бы говорит всему миру: «Посмотрите, как мы счастливы, – ведь это и вас делает счастливыми, не правда ли?» – он то гладил ее по ноге, которая упруго и рельефно выделялась под платьем, то щипал ее за щеку, то щекотал ей шею своими жесткими, черными, завитыми кверху усами… Но хотя он и сверкал от восторга, однако что-то хищное, опасливое, беспокойное мелькало в его часто моргавших глазах, в подергивании верхней губы и в жестком рисунке его бритого, выдвинувшегося вперед квадратного подбородка, с едва заметным углом посередине.

Против этой влюбленной парочки помещались трое пассажиров: отставной генерал, сухонький опрятный старичок, нафиксатуаренный, с начесанными наперед височками; толстый помещик, снявший свой крахмальный воротник и все-таки задыхавшийся от жары и поминутно вытиравший мокрое лицо мокрым платком, и молодой пехотный офицер. Беско-

нечная разговорчивость Семена Яковлевича (молодой человек уже успел уведомить соседей, что его зовут Семен Яковлевич Горизонт) немного утомляла и раздражала пассажиров, точно жужжение мухи, которая в знойный летний день ритмически бьется об оконное стекло закрытой душной комнаты. Но он все-таки умел подымать настроение: показывал фокусы, рассказывал еврейские анекдоты, полные тонкого, своеобразного юмора. Когда его жена уходила на платформу освежиться, он рассказывал такие вещи, от которых генерал расплывался в блаженную улыбку, помешник ржал, колыхая черноземным животом, а подпоручик, только год выпущенный из училища, безусый мальчик, едва сдерживая смех и любопытство, отворачивался в сторону, чтобы соседи не видели, что он краснеет.

Жена ухаживала за Горизонтом с трогательным, наивным вниманием: вытирала ему лицо платком, обмахивала его веером, поминутно поправляла ему галстук. И лицо его в эти минуты становилось смешно-надменным и глупосамодовольным.

— А позвольте узнать, — спросил, вежливо покашливая, сухонький генерал. — Позвольте узнать, почтеннейший, чем вы изволите заниматься?

— Ах, боже мой! — с милой откровенностью возразил Семен Яковлевич. — Ну, чем может заниматься в наше время бедный еврей? Я себе немножко коммивояжер и комиссионер. В настоящее время я далек от дела. Вы, хе! хе! хе! сами понимаете, господа. Медовый месяц, — не красней, Сарочка, — это ведь не по три раза в год повторяется. Но потом мне придется очень много ездить и работать. Вот мы приедем с Сарочкой в город, нанесем визиты ее родственникам, и потом опять в путь. На первый вояж я думаю взять с собой жену. Знаете, вроде свадебного путешествия. Я представитель Сидриса и двух английских фирм. Не угодно ли поглядеть: вот со мной образчики...

Он очень быстро достал из маленького красивого, желтой кожи, чемодана несколько длинных картонных складных книжечек и с ловкостью портного стал разворачивать их, держа за один конец, отчего створки их быстро падали вниз с легким треском.

— Посмотрите, какие прекрасные образцы: совсем не уступают заграничным. Обратите внимание. Вот, например, русское, а вот английское трико или вот кангар и шевиот. Сравните, пощупайте, и вы убедитесь, что русские образцы почти не уступают заграничным. А ведь это говорит о прогрессе, о росте культуры. Так что совсем напрасно Европа считает нас, русских, такими варварами.

Итак, мы нанесем наши семейные визиты, посмотрим ярмарку, побываем себе немножко в «Шато-де-Флер», погуляем, пофланируем, а потом на Волгу, вниз до Царицына, на Черное море, по всем курортам и опять к себе на родину, в Одессу.

— Прекрасное путешествие, — сказал скромно подпоручик.

— Что и говорить, прекрасное, — согласился Семен Яковлевич, — но нет розы без шипов. Дело коммивояжера чрезвычайно трудное и требует многих знаний, и не так знаний дела, как знаний, как бы это сказать... человеческой души. Другой человек и не хочет дать заказа, а ты его должен уговорить, как слона, и до тех пор уговариваешь, покамест он не почувствует ясности и справедливости твоих слов. Потому что я берусь только исключительно за дела совершенно чистые, в которых нет никаких сомнений. Фальшивого или дурного дела я не возьму, хотя бы мне за это предлагали миллионы. Спросите где угодно, в любом магазине, который торгует сукнами или подтяжками «Глуар», — я тоже представитель этой фирмы, — или пуговицами «Гелиос», — вы спросите только, кто такой Семен Яковлевич Горизонт, — и вам каждый ответит: «Семен Яковлевич — это не человек, а золото, это человек бескорыстный, человек брильянтовой честности». — И Горизонт уже разворачивал длинные коробки с патентованными подтяжками и показывал блестящие картонные листики, усеянные правильными рядами разноцветных пуговиц.

— Бывают большие неприятности, когда место избито, когда до тебя являлось много вояжеров. Тут ничего не сделаешь: даже тебя совсем не слушают, только махают себе руками.

Но это только для других. Я – Горизонт! Я сумею его уговорить, как верблюда от господина Фальцфейна из Новой Аскании. Но еще неприятнее бывает, когда сойдутся в одном городе два конкурента по одному и тому же делу. Да и еще хуже бывает, когда какой-нибудь шмаровоз и сам не сможет ничего, и тебе же дело портит. Тут на всякие хитрости пускаешься: напоишь его пьяным или пустишь куда-нибудь по ложному следу. Нелегкое ремесло! Кроме того, у меня еще есть одно представительство – это вставные глаза и зубы. Но дело невыгодное. Я хочу его бросить. Да и всю эту работу подумываю оставить. Я понимаю, хорошо порхать, как мотылек, человеку молодому, в цвете сил, но раз имеешь жену, а может быть, и целую семью... – Он игриво похлопал по ноге женщину, отчего та сделалась пунцовкой и необыкновенно похорошела. – Ведь нас, евреев, господь одарил за все наши несчастья плодородием... то хочется иметь какое-нибудь собственное дело, хочется, понимаете, усесться на месте, чтобы была и своя хата, и своя мебель, и своя спальня, и кухня. Не так ли, ваше превосходительство?

– Да... да... э-э... Да, конечно, конечно, – снисходительно отозвался генерал.

– И вот я взял себе за Сарочкой небольшое приданое. Что значит небольшое приданое?! Такие деньги, на которые Ротшильд и поглядеть не захочет, в моих руках уже целый капитал. Но надо сказать, что и у меня есть кое-какие сбережения. Знакомые фирмы дадут мне кредит. Если господь даст, мы таки себе будем кушать кусок хлеба с маслицем и по субботам вкусную рыбку-фиш.

– Прекрасная рыба: щука по-жидовски! – сказал задыхающийся помещик.

– Мы откроем себе фирму «Горизонт и сын». Не правда ли, Сарочка, «и сын»? И вы, надеюсь, господа, удостоите меня своими почтенными заказами? Как увидите вывеску «Горизонт и сын», то прямо и вспомните, что вы однажды ехали в вагоне вместе с молодым человеком, который адски оглушен от любви и от счастья.

– Обязательно! – сказал помещик.

И Семен Яковлевич сейчас же обратился к нему:

– Но я тоже занимаюсь и комиссионерством. Продать имение, купить имение, устроить вторую залогенную – вы не найдете лучшего специалиста, чем я, и притом самого дешевого. Могу вам служить, если понадобится, – и он протянул с поклоном помещику свою визитную карточку, а кстати уже вручил по карточке и двум его соседям.

Помещик полез в боковой карман и тоже вытащил карточку.

«Иосиф Иванович Венгженовский», – прочитал вслух Семен Яковлевич. – Очень, очень приятно! Так вот, если я вам понадоблюсь...

– Отчего же? Может быть... – сказал раздумчиво помещик. – Да что: может быть, в самом деле, нас свел благоприятный случай! Я ведь как раз еду в К. насчет продажи одной лесной дачи. Так, пожалуй, вы, того, наведайтесь ко мне. Я всегда останавливаюсь в «Гранд-отеле». Может быть, и сладим что-нибудь.

– О! Я уже почти уверен, дражайший Иосиф Иванович, – восхликал радостный Горизонт и слегка кончиками пальцев потрепал осторожно по коленке Венгженовского. – Уж будьте покойны: если Горизонт за что-нибудь взялся, то вы будете благодарить, как родного отца, ни более ни менее!

Через полчаса Семен Яковлевич и безусый подпоручик стояли на площадке вагона и курили.

– Вы часто, господин поручик, бываете в К.? – спросил Горизонт.

– Представьте себе, только в первый раз. Наш полк стоит в Чернобобе. Сам я родом из Москвы.

– Ай, ай, ай! Как это вы так далеко забрались?

– Да так уж пришлось. Не было другой вакансии при выпуске.

– Да ведь Чернобоб же – это дыра! Самый паскудный городишко во всей Подолии.

– Правда, но уж так пришлось.

– Значит, теперь молодой господин офицер едет в К., чтобы немножко себе развлечься?

– Да. Я думаю там остановиться денька на два, на три. Еду я, собственно, в Москву. Получил двухмесячный отпуск, но интересно было бы по дороге поглядеть город. Говорят, очень красивый.

– Ох! Что вы мне будете говорить? Замечательный город! Ну, совсем европейский город. Если бы вы знали, какие улицы, электричество, трамваи, театры! А если бы вы знали, какие кафешантаны! Вы сами себе пальчики облизнете. Непременно, непременно советую вам, молодой человек, сходите в «Шато-де-Флер», в «Тиволи», а также проезжайте на остров. Это что-нибудь особенное. Какие женщины, ка-ак-кие женщины!

Поручик покраснел, отвел глаза и спросил дрогнувшим голосом:

– Да, мне приходилось слышать. Неужели так красивы?

– Ой! Накажи меня бог! Поверьте мне, там вовсе нет красивых женщин.

– То есть как это?

– А так: там только одни красавицы. Вы понимаете, какое счастливое сочетание кровей: польская, малорусская и еврейская. Как я вам завидую, молодой человек, что вы свободный и одинокий. В свое время я таки показал бы там себя! И замечательнее всего, что необыкновенно страстные женщины. Ну прямо как огонь! И знаете, что еще? – спросил он вдруг многозначительным шепотом.

– Что?! – испуганно спросил подпоручик.

– Замечательно то, что нигде – ни в Париже, ни в Лондоне, – поверьте, это мне рассказывали люди, которые видели весь белый свет, – никогда нигде таких утонченных способов любви, как в этом городе, вы не встретите. Это что-нибудь особенное, как говорят наши евреи-чики. Такие выдумывают штуки, которые никакое воображение не может себе представить. С ума можно сойти!

– Да неужели? – тихо проговорил подпоручик, у которого захлестнуло дыхание.

– Да накажи меня бог! А впрочем, позвольте, молодой человек! Вы сами понимаете. Я был холостой, и, конечно, понимаете, всякий человек грешен... Теперь уж, конечно, не то. Записался в инвалиды. Но от прежних дней у меня осталась замечательная коллекция. Подождите, я вам сейчас покажу ее. Только, пожалуйста, смотрите осторожнее.

Горизонт боязливо оглянулся налево и направо и извлек из кармана узенькую длинную сафьяновую коробочку, вроде тех, в которых обыкновенно хранятся игральные карты, и протянул ее подпоручику.

– Вот, поглядите. Только, прошу, осторожнее.

Подпоручик принялся перебирать одну за другой карточки простой фотографии и цветной, на которых во всевозможных видах изображалась в самых скотских образах, в самых неправдоподобных положениях та внешняя сторона любви, которая иногда делает человека неизмеримо ниже и подле павиана. Горизонт заглядывал ему через плечо, подталкивал локтем и шептал:

– Скажите, разве это не шик? Это же настоящий парижский и венский шик!

Подпоручик пересмотрел всю коллекцию от начала до конца. Когда он возвращал ящик обратно, то рука у него дрожала, виски и лоб были влажны, глаза помутнели и по щекам разлился мраморно-пестрый румянец.

– А знаете что? – вдруг воскликнул весело Горизонт. – Мне все равно: я человек закабаленный. Я, как говорили в старину, сжег свои корабли... сжег все, чему поклонялся. Я уже давно искал случая, чтобы сбыть кому-нибудь эти карточки. За ценой я не особенно гонюсь. Я возьму только половину того, что они мне самому стоили. Не желаете ли приобрести, господин офицер?

– Что же... Я, то есть... Почему же?.. Пожалуй...

— И прекрасно! По случаю такого приятного знакомства я возьму по пятьдесят копеек за штуку. Что, дорого? Ну, нехай, бог с вами! Вижу, вы человек дорожный, не хочу вас грабить: так и быть по тридцать. Что? Тоже не дешево?! Ну, по рукам. Двадцать пять копеек штука! Ой! Какой вы несговорчивый! По двадцать! Потом сами меня будете благодарить! И потом, знаете что? Я когда приезжаю в К., то всегда останавливаюсь в гостинице «Эрмитаж». Вы меня там очень просто можете застать или рано утром, или часов около восьми вечера. У меня есть масса знакомых прехорошеньких дамочек. Так я вас познакомлю. И понимаете, не за деньги. О нет. Просто им приятно и весело провести время с молодым, здоровым, красивым мужчиной, вроде вас. Денег не надо никаких абсолютно. Да что там! Они сами охотно заплатят за вино, за бутылку шампанского. Так помните же: «Эрмитаж», Горизонт. А если не это, то все равно помните!.. Может быть, я вам буду полезен. А карточки — это такой товар, такой товар, что он никогда у вас не залежится. Любители дают по три рубля за экземпляр. Ну, это, конечно, люди богатые, старики. И потом, вы знаете, — Горизонт нагнулся к самому уху офицера, прищурил один глаз и произнес лукавым шепотом, — знаете, многие дамы обожают эти карточки. Ведь вы человек молодой, красивый: сколько у вас еще будет романов!

Получив деньги и тщательно пересчитав их, Горизонт еще имел нахальство протянуть и пожать руку подпоручику, который не смел на него поднять глаз, и, оставив его на площадке, как ни в чем не бывало, вернулся в коридор вагона.

Это был необыкновенно общительный человек. По дороге к своему купе он остановился около маленькой прелестной трехлетней девочки, с которой давно уже издали заигрывал и строил ей всевозможные смешные гримасы. Он опустился перед ней на корточки, стал ей делать козу и сюсюкающим голосом расспрашивал:

— А сто, куда зе балисня едет? Ой, ой, ой! Такая болься! Едет одна, без мамы? Сама себе купила билет и едет одна? Ай! Какая нехолосая девочка. А где же у девочки мама?

В это время из купе показалась высокая, красивая, самоуверенная женщина и сказала спокойно:

— Отстаньте от ребенка. Что за гадость привязываться к чужим детям!

Горизонт вскочил на ноги и засуетился:

— Мадам! Я не мог удержаться... Такой чудный, такой роскошный и шикарный ребенок! Настоящий купидон! Поймите, мадам, я сам отец, у меня у самого дети... Я не мог удержаться от восторга!..

Но дама повернулась к нему спиной, взяла девочку за руку и пошла с ней в купе, оставив Горизонта расшаркиваться и бормотать комплименты и извинения.

Несколько раз в продолжение суток Горизонт заходил в третий класс, в два вагона, разделенные друг от друга чуть ли не целым поездом. В одном вагоне сидели три красивые женщины в обществе чернобородого, молчаливого, сумрачного мужчины. С ним Горизонт перекидывался странными фразами на каком-то специальном жаргоне. Женщины глядели на него тревожно, точно желая и не решаясь о чем-то спросить. Раз только, около полудня, одна из них позволила себе робко произнести:

— Так это правда? То, что вы говорили о месте?.. Вы понимаете: у меня как-то сердце тревожится!

— Ах! Что вы, Маргарита Ивановна! Уж раз я сказал, то это верно, как в государственном банке. Послушайте, Лазер, — обратился он к бородатому, — сейчас будет станция. Купите барышням разных бутербродов, каких они пожелают. Поезд стоит двадцать пять минут.

— Я бы хотела бульону, — несмело произнесла маленькая блондинка, с волосами как спелая рожь и с глазами как васильки.

— Милая Бэла, все, что вам угодно! На станции я пойду и распоряжусь, чтобы вам прислали бульону с мясом и даже с пирожками. Вы не беспокойтесь, Лазер, я все это сам сделаю.

В другом вагоне у него был целый рассадник женщин, человек двенадцать или пятнадцать, под предводительством старой толстой женщины с огромными, устрашающими, черными бровями. Она говорила басом, а ее жирные подбородки, груди и животы колыхались под широким капотом в такт тряске вагона, точно яблочное желе. Ни старуха, ни молодые женщины не оставляли ни малейшего сомнения относительно своей профессии.

Женщины валялись на скамейках, курили, играли в карты, в шестьдесят шесть, пили пиво. Часто их задирала мужская публика вагона, и они отругивались бесцеремонным языком, сиповатыми голосами. Молодежь угощала их папиросами и вином.

Горизонт был здесь совсем неузнаваем: он был величественно-небрежен и свысока-шутлив. Зато в каждом слове, с которым к нему обращались его клиентки, слышалось подобострастное заискивание. Он же, осмотрев их всех – эту странную смесь румынок, евреек, полек и русских – и удостоверясь, что все в порядке, распоряжался насчет бутербродов и величественно удалялся. В эти минуты он очень был похож на гуртовщика, который везет убойный скот по железной дороге и на станции заходит поглядеть на него и задать корму. После этого он возвращался в свое купе и опять начинал миндальничать с женой, и европейские анекдоты, точно горох, сыпались из его рта.

При больших остановках он выходил в буфет для того только, чтобы распорядиться о своих клиентках. Сам же он говорил соседям:

– Вы знаете, мне все равно, что трефное, что кошерное. Я не признаю никакой разницы. Но что я могу поделать с моим желудком! На этих станциях черт знает какой гадостью иногда накормят. Заплатишь каких-нибудь три-четыре рубля, а потом на докторов пролечишь сто рублей. Вот, может быть, ты, Сарочка, – обращался он к жене, – может быть, сойдешь на станцию скушать что-нибудь? Или я тебе пришлю сюда?

Сарочка, счастливая его вниманием, краснела, сияла ему благодарными глазами и откликывалась.

– Ты очень добрый, Сеня, но только мне не хочется. Я сыта.

Тогда Горизонт доставал из дорожной корзинки курицу, вареное мясо, огурцы и бутылку палестинского вина, не торопясь, с аппетитом закусывал, угощал жену, которая ела очень жеманно, оттопырив мизинчики своих прекрасных белых рук, затем тщательно заворачивал остатки в бумагу и не торопясь аккуратно укладывал их в корзинку.

Вдали, далеко впереди паровоза, уже начали поблескивать золотыми огнями купола колоколен. Мимо купе прошел кондуктор и сделал Горизонту какой-то неуловимый знак. Тот сейчас же вышел вслед за кондуктором на площадку.

– Сейчас контроль пройдет, – сказал кондуктор, – так уж вы будьте любезны постоять здесь с супругой на площадке третьего класса.

– Ну, ну, ну! – согласился Горизонт.

– А теперь пожалуйте денежки, по договору.

– Сколько же тебе?

– Да как уговорились: половину приплаты, два рубля восемьдесят копеек.

– Что?! – вскинул вдруг Горизонт. – Два рубля восемьдесят копеек?! Что я сумасшедший тебе дался? На тебе рубль, и то благодари бога!

– Простите, господин! Это даже совсем несвообразно: ведь уговаривались мы с вами?

– Уговаривались, уговаривались!.. На тебе еще полтинник и больше никаких. Что это за нахальство! А я еще заявлю контролеру, что безбилетных возишь. Ты, брат, не думай! Не на такого напал!

Глаза у кондуктора вдруг расширились, налились кровью.

– У! Жидова! – зарычал он. – Взять бы тебя, подлеца, да под поезд!

Но Горизонт тотчас же петухом налетел на него:

– Что?! Под поезд?! А ты знаешь, что за такие слова бывает?! Угроза действием! Вот я сейчас пойду и крикну «караул!» – и поверну сигнальную ручку, – и он с таким решительным видом схватился за рукоятку двери, что кондуктор только махнул рукой и плонул.

– Подавись ты моими деньгами, жид пархатый!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочтите эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.